

$L \equiv l(n)$

и
и

и и и

с в г ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ

и о у

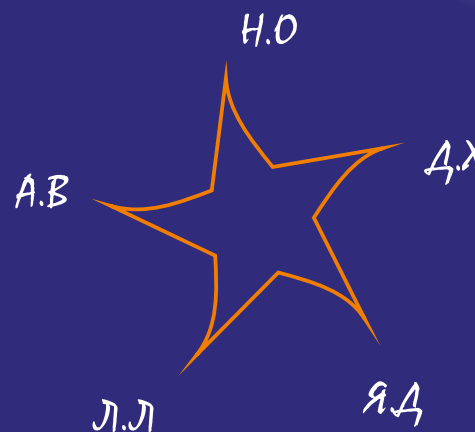
$\varphi \neq \pi_{1/2}$



1935

А.А. Шадрин

**СОПРЕДЕЛЬНЫЕ МИРЫ ЧИНАРЕЙ
ГЕРМЕНЕВТИКА КОНЦЕПТА
«ТЕОРИИ СЛОВ» Л.С. ЛИПАВСКОГО**



Ижевск 2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УДК 111:81'0

ББК 87.228.1

Ш 163

Серия «Proxima»

А.А. Шадрин

**СОПРЕДЕЛЬНЫЕ МИРЫ ЧИНАРЕЙ
ГЕРМЕНЕВТИКА КОНЦЕПТА
«ТЕОРИИ СЛОВ» Л.С. ЛИПАВСКОГО**

Монография

Рецензент: доктор философских наук, профессор О.Н. Бушмакина

Шадрин А.А.

Ш 163 Сопредельные миры чинарей. Герменевтика концепта «Теории слов» Л.С. Липавского. – Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2016. – 148 с.

ISBN 978-5-4312-0409-8

В монографии представлены тексты, объединенные общей исследовательской тематикой – философско-герменевтическим прочтением творческого наследия эзотерического содружества «чинарей». В него входили Я.С. Друскин, Л.С. Липавский, Д.И. Хармс, А.И. Введенский и Н.М. Олейников. Книга адресована философам, филологам и всем тем, кто интересуется идеями русского авангарда.

ISBN 978-5-4312-0409-8



Ижевск
2016

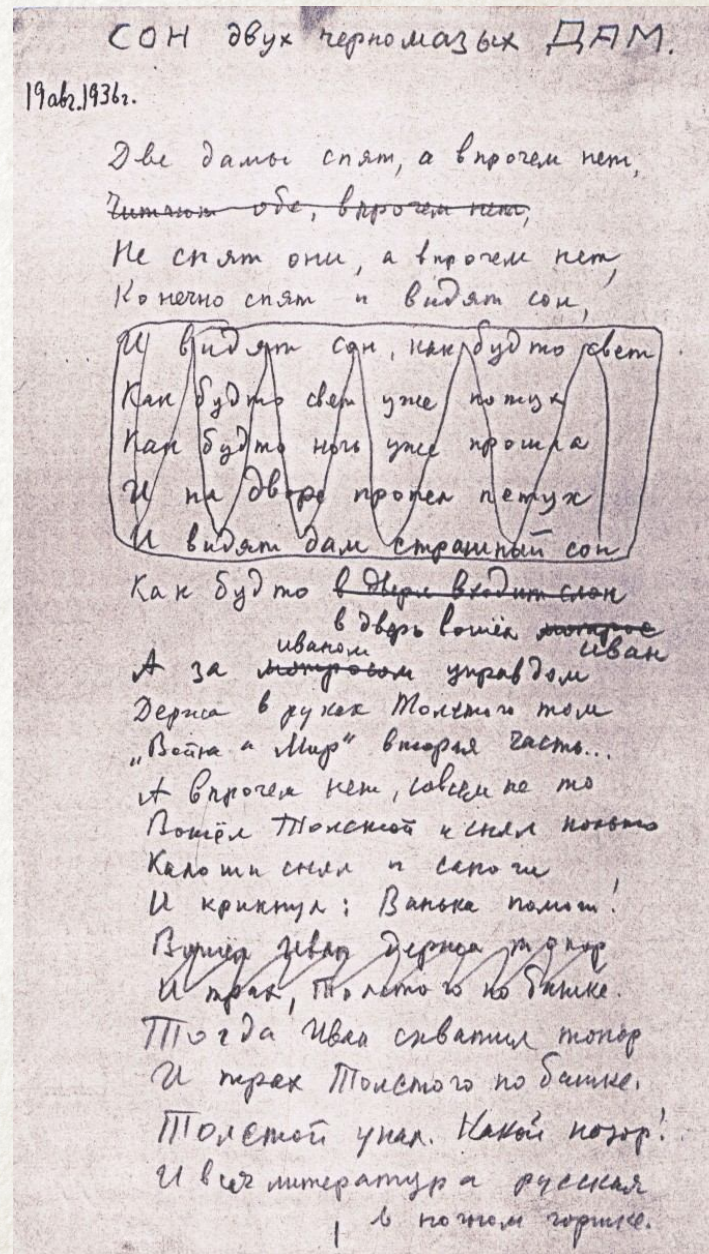
УДК 111:81'0

ББК 87.228.1

© А.А. Шадрин, 2016
© ФГБОУ ВПО «Удмуртский
государственный университет», 2016

Содержание

1. Эпистемологический статус терминов «это» и «то» в концепции Я.С. Друскина	5
Формула «это и то»	6
«Некоторое равновесие с небольшой погрешностью»	11
2. Произведение субъективности на пределе манифестации	15
3. Знаки-иероглифы различного существования	25
4. «Соседние миры» Я.С. Друскина	35
5. «Звезда бессмыслицы»: между комментарием и интерпретацией	44
6. Герменевтика концепта «Теории слов» Л.С. Липавского	56
Конструирование языковой реальности в онтолингвистике Л.С. Липавского: от состава слов к теории значений	56
От вероятности значений к аналитике традиционных лингвистических моделей	68
Фонема ⟨j⟩ в системе со-гласных	80
Возвращение к вопросу о происхождение языка	85
7. СЕМИНАР PROXIMA. «Звезда бессмыслицы»: между комментарием и интерпретацией (13 января 2010 г.)	108



ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ТЕРМИНОВ «ЭТО» И «ТО» В КОНЦЕПЦИИ Я.С. ДРУСКИНА

Яков Семенович Друскин (1902-1980) – один из двух философов (вторым был Л.С. Липавский), входивших в эзотерическое объединение *чинарей* (А.И. Введенский, Д.И. Хармс, Н.М. Олейников), до сих пор более известен как интерпретатор литературного наследия Введенского и Хармса. Именно он, чудом избежав террора и блокады, спас архив последнего, а вместе с ним и уцелевшие рукописи Введенского после превентивного ареста обоих в начале войны. Позднее Друскин посвятил их творчеству интересные исследования и комментарии.

Касаясь некоторых фактов биографии Друскина следует отметить, что в 1920-1923 годах он и Липавский учатся на философском отделении Петроградского университета у Н.О. Лосского. Как сообщает М. Мейлах, в конце занятий обоим было предложено остаться в университете при условии, что они осудят своего преподавателя (Лосский был отстранен от университета в 1921 году, то есть за год до высылки), но они отказались это сделать [2, 349]. Кроме того, в 1929 году Друскин заканчивает Ленинградскую консерваторию по классу фортепьяно, а в 1939 году получает второй университетский диплом уже как математик [2, 123].

Наследие Друскина колоссально и, к сожалению, еще только ждет своего открытия. Оно включает в себя большое количество сугубо философских трактатов, а также труды, носящие философско-теологический характер (многие до сих пор не опубликованы). Мы перечислим лишь некоторые из них: цикл «Вестники» («Разговоры вестников» – сочинение в трех частях: «О некотором волнении и некотором спокойствии», «Признаки», «О деревьях»), к нему примыкает небольшое произведение 1933 года «Вестники и их разговоры»; «Это и то», «Классификация точек», «Движение», «Признаки

вечности», «О желании», «О голом человеке», «Происхождение животных» (эти семь трактатов, написанных между 1933 и 1938 годами, собраны в одной тетради и образуют единое целое); «Трактат формула бытия» (1945); «Рассуждение преимущественно в низком стиле» (1952); «Логический трактат: О непосредственном умозаключении» (1960-е годы); «Сон Явь»; «Псалмы»; «Видение невидения»; «Тайна креста» (1964); «Геоцентрическая антропология» (1964); «Рассуждение о Библейской онтологии» (1967).

Формула «это и то»

Философские сочинения Друскина конца 20-х – первой половины 30-х годов объединяет формула «это и то». Речь идет прежде всего о трактатах «Это и то», «Классификация точек», «Движение», «Признаки вечности», «Вестники и их разговоры». Попытаемся проанализировать эпистемологический статус терминов *это* и *то* в выстраиваемой Друскиным – по его собственному определению – «несистемной системе» знания.

В 1968 году, комментируя для М. Мейлаха трактат «Вестники и их разговоры», Друскин сказал: «Это и то – основные термины данного круга произведений, относящиеся как бы уже к языку послерефлексивному и обозначающие, условно говоря, имманентное и трансцендентное» [1, 94]. В 70-е годы в «Примечаниях к произведениям Д. Хармса» философ писал: «Это и то – термины, введенные мною в 1928 г. и обозначающие члены конъюнкции и дизъюнкции, изменяемых при построении философских систем» [2, 365].

Почему *это* и *то* Друскин относит к языку послерефлексивному? *Это* и *то* – стилистически нейтральные указательные местоимения, то есть языковые единицы, выражающие *определенную неопределенность* указания (указания) или обобщения. *Это* и *то*, не называя имен (предметов, свойств или качеств), лишь указывают на что-либо присут-

вующее, или имеющее место. Однако *интуитивное* указание возможно и на до-рефлексивном уровне, равно как *осознанное* (осмысленное) – на рефлексивном. Универсальность «этого» и «того» как терминов как раз и заключается в том, что они могут быть соотнесены с любым уровнем конструируемой – и одновременно опосредуемой ими – системы знания. В *этом* смысле *это* и *то*, безусловно, относятся к языку (уже) после-рефлексивному.

Это и то – в (их) стремлении указать на что-либо – тем не менее изначально указывают лишь на самих себя. Непредметное узнавание себя может быть охарактеризовано как первичный опыт со-знания, или само-рефлексии «Я». Само-рефлексия, таким образом, обеспечивает «Я» безусловную включенность в конструируемую – разворачиваемую – им систему знания.

Союз «и», различающий «это» и «то», сам по себе не принадлежит ни (к) «этому», ни (к) «тому», но обнаруживает *между* ними некоторое различие. – Если «это» и «то» – обладание каким-либо знанием, то «и» всегда пред-определяет его (место)нахождение, выбор направления движения и, в итоге, границу познаваемого. «И» – граница, или то, что оставляет знание, или предшествует ему как со-знание.

Само различие, никогда не изменяя своей сущности, то есть никогда не переставая быть именно различием, может быть представлено различными способами в зависимости от целей и задач исследования. Друскин выделяет, например, разделение (это и то), отделение (это в отличие от того), оставление разделенного (запоминание). Всякое различие значимо только в том случае, если не нарушается «первый закон поведения» – «помнить то, что сейчас», на котором основано «правило осторожности». При его соблюдении в определенном месте исследование останавливается, в этот момент должен произойти *поворот*, обусловленный степенью безразличия. («Поворот» – одно из ключевых поня-

тий в философской системе Друскина, – «науке об этом и том».)

Следовательно, поворот наступает тогда, когда «Я» уже до некоторой степени не различает себя, утрачивая при этом способность видения, или говорения. Молчание и есть не-различение, ничто. Преодолевает молчание, или превращает «ничто» в нечто, поворот – то, что сейчас – настоящее, восстанавливающее *это* и *то* как прошлое и будущее, присутствующие в самом повороте не реально, но в возможности.

Поворот – это всегда событие, *ближайшее*. Или иначе, ближайшее событие для «Я» – возвращение к собственному существованию, не ближайшее – однонаправленное движение, автоматизм существования: «если два слова соединены в одном направлении, то уже второе ничего не обозначает» [3, Т. 1, 813]. Друскин поясняет это примером с временем и вечностью (время и вечность могут быть опять же представлены как «это» и «то»). «Ряд во времени» предполагает однонаправленное движение от чего-то к чему-то, при этом «всегда за одним идет другое». – Последовательность событий выстраивается как бы сама собой таким образом, что при попытке остановить движение и вычленить настоящее, то есть собственно происходящее как про-ис-ходящее, нас поджидает встреча с пустотой. Настоящее – сейчас – отсутствует. «Я» не принимает участия в событии (со-бытии) настоящего, «Я» за пределами (трансцендентно) по отношению к нему и пока не застает себя в происходящем. Необходим поворот. Поворот – начало события, когда мгновение, «это», или «сейчас» для «Я» не нуждается в наполнении чем-либо, ему самому не принадлежащем: «Я» уже захвачено полнотой собственного существования, – бесконечностью, реализовавшей прорыв времени в вечность.

Определенная неопределенность «этого» и «того» соответствует дефиниции *точки*. Однако сама формула «это и то» до-

пускает двойное прочтение: речь может идти как об одной точке, так и о двух.

В трактате «Классификация точек» философ называет точкой «что-либо, о чем можно сказать это и то» [1, 97]. И далее: «Это и то есть начало – то что имеет ко мне отношение сейчас, когда я обратил на него внимание» [1, 99]. Следовательно, речь идет об одной точке, пред-определяющей или пред-вещающей близость *поворота*. Ее форма, или определение, – по времени – совпадает с началом поворота, поэтому значение точки определяется близостью, а близость – соответствием. Некоторое несоответствие или небольшая ошибка в соответствии также необходимо принадлежат к соответствию, так как это место либо подготавливает поворот, либо он уже наступил.

Друскин задает вопрос: возможен ли переход от одной точки к другой? Перейти «от» чего-то «к» чему-то значит указать направление движения. Но точки не соединены, «это» и «то» как точки не занимают пространства, не имеют очертаний и существуют только под нашим взглядом. Но под нашим взглядом они неизбежно совпадают и в этом смысле лежат на одном месте. Перемещается взгляд, и существует, таким образом, только одна точка – «точка зрения». В какой-то момент «Я» достигает границы знания и обозначив ее как предельную точку возвращается к собственному существованию, что по времени всегда совпадает с началом поворота. Точка поворота, различающая возможные направления исследования, всякий раз как бы предъ-являет выход в ход («выход-в-ход») дальнейших рассуждений.

Друскин пытается классифицировать точки «старой» и «новой» системы и в результате приходит к последней: «Различие старой и новой системы – небольшая погрешность. Существует только одна система – новая, она содержит всего одну точку. Как классифицировать точки старой и новой системы? Различие здесь уже дано: одна точка и все остальные. Одну точку я определяю так: новая система, нача-

ло, существующее, имеющее ко мне отношение и т.д.» [1, 99]. Точкам старой системы (всем остальным) соответствуют числа, определяемые порядком. – Тогда понятию границы соответствует уже не предельная точка, а линия, то есть прямая или ряд во времени, не имеющий ни начала, ни конца. «Я» как бы растворяется в бесконечной последовательности событий, что означает для него утрату возможности различения, или саморефлексии. Для «Я» это означает молчание, или не-существование.

В самом тексте трактата Друскин как бы балансирует на грани «старой» и «новой» системы, проверяя и перепроверяя собственную принадлежность к выбранному направлению исследования. При этом сохраняется и оберегается исходный принцип саморефлексии. Близость и отдаленность как способ иметь что-либо постоянно возвращает «Я» к самому себе, подтверждая его присутствие на границе «новой» системы – предельной точке. Именно предельная точка – «выход-в-ход» дальнейших рассуждений – позволяет «Я» лавировать между «этим» и «тем» и – по необходимости – изменять направление движения. В этом смысле весь текст трактата – место поворотов, об-наруживающих смысл происходящего при их «прохождении». Но так как это – «схватывание» смысла – длится лишь мгновение, то происходит своего рода непрерывное мерцание – «мерцание» смысла в «пространстве» текста. Мерцание и есть собственно происходящее, – то, что имеет место под нашим взглядом. «Точка зрения» как точка различения обеспечивает возможность говорения об «этом» и «том».

«Некоторое равновесие с небольшой погрешностью»

Термин «некоторое равновесие с небольшой погрешностью», введенный Друскиным в начале 30-х гг., – ключ к пониманию и истолкованию формулы «это и то». По существу, целиком формула (ее «инвариант») может быть представлена как «некоторое равновесие с небольшой погрешностью между этим и тем».

Во второй половине 60-х годов Друскин писал в дневнике: «Слово нарушило равновесие. Первоначальное Слово нарушило равновесие ничто, создав мир – погрешность к ничто перед Богом» [3, Т. 1, 1054]. И еще: «Я нашел некоторую погрешность в порядке событий, имеющих ко мне отношение. Эта погрешность и есть начало философствования...» [3, Т. 1, 1063].

По Друскину, таким образом, философствование есть нарушение и восстановление равновесия между *этим* и *тем*. То есть *онтологически* концепция Друскина основывается на представлении о философствовании как рассуждении, опосредующем точку различения, или точку саморефлексии «Я»; *гносеологически* – на описании способов нарушения и восстановления (нарушения-восстановления) равновесия между двумя ее состояниями – существования и не-существования; собственно *логически* – на представлении о системе, целостность которой также непрерывно нарушается и восстанавливается по ходу развертывания (развертывания-набрасывания) рассуждений об «этом» и «том».

Выше мы отмечали, что *определенная неопределенность* «этого» и «того» соответствует дефиниции *точки*. Поскольку же речь идет об одной и только одной точке, постольку «это» и «то», во-первых, могут рассматриваться как два ее возможных состояния, а во-вторых, – как сквозная точка («выход-вход») и проходящая сквозь нее деятельность мышления. Тогда – при втором варианте рассмотрения – *определенной неопределенности* точки («это») будет соответствовать *неопределенная*

определенность деятельности («то»). Оба определения в смысле словом отношении являются «мерцающими», поскольку точка определяется через деятельность, а деятельность – через точку. Точка, структурирующая деятельность мышления, всякий раз застаёт себя на пределе возможного, одновременно различая и отождествляя «это» и «то» в со-стоянии саморефлексии, или «некоторого равновесия с небольшой погрешностью».

Если «это» и «то» – состояния присутствия и отсутствия, то граница *между* ними – она же предельная точка – может быть охарактеризована как со-стояние *присутствующего отсутствия* или *отсутствующего присутствия*. – Состояние, о котором, как мы полагаем, идет речь в трактате Друскина «Окрестности вещей» (1936): «Я начинаю с чего-либо, имеющего ко мне отношение. Тогда название чего-либо принадлежит мне, это – мое место. Но также и то, которое я отделил, – мое место. Место этого и того, место границы между этим и тем – тоже мои места. Но при дальнейшем отделении я увижу место совсем пустое. Когда всякое это отделено от того или всякое то от чего-либо, я увижу место совсем пустое, где уже невозможно прикосновение, потому что нечего отделять. Но это место определенное, здесь я нахожусь. Если это определенное место – это, то возможность всякого определения – то. Между ними отсутствие: нельзя уже разделить это, отделить другое то, все отделено. Но это – и есть пустое место, здесь уже нет прикосновения. Таким образом, что-либо уже не на месте этого, но скорее того. Я же – на границе, на месте отсутствующего, там, где это. Пусть такое это будет последним этим и также то – последним тем. Между ними – граница – некоторое отсутствие. Мне трудно удержаться на этой границе. Граница – отсутствие, но также и последнее это – отсутствие. Если же я вижу возможность какого-либо отделения – я на месте того. На месте того я имею и что-либо. Но я не должен остановиться ни на этом, ни на том. Я найду прочное место между границами этого и того, между границами двух пред-

метов. Это место – где уже не может быть отделения, но поэтому это мое место, здесь только я: все, что имело ко мне отношение, отделено, но здесь самое близкое, хотя это и отсутствие. Это место, место отсутствия не определено и не названо. Его надо назвать и затем указать. Я назову его: имеющее ко мне отношение. Оно еще не указано, но оно должно быть, потому что на этом месте я. Оно названо, следовательно, существует» [3, Т. 1, 828-829].

В системе Друскина, системе одной точки, это место существует, может существовать, только как *место поворота*, всякий раз удерживающего «Я» на границе между знанием и незнанием, присутствием и отсутствием, существованием и несуществованием. – Между тем и другим – «некоторое равновесие с небольшой погрешностью». «Об этом, – отмечает Друскин в дневнике, – я скажу коротко: небольшая погрешность присутствует всюду, как душа в теле, не занимая определенного места» [3, Т. 1, 973].

Бесконечное именование *этого* искомого места – места «Я» – одновременно ближайшего и отсутствующего, постоянно ускользающего от окончательного определения, но в то же время вмещающего в себя любое из бесконечного множества называемых с «этого» места отличных от него самого «мест» и «предметов», «вещей» и «окрестностей» – такова, очевидно, основная тема и проблема философствования Я.С. Друскина, его «науки об этом и том».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Друскин Я. Вестники и их разговоры; Это и то; Классификация точек; Движение // Логос. М., 1993. № 4. С. 91-101.
2. Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда / Пер. с фр. Ф. А. Перовской. СПб.: Академический проект, 1995.
3. «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОСТИ НА ПРЕДЕЛЕ МАНИФЕСТАЦИИ

История «Черного квадрата» Казимира Малевича длится уже столетие. В ней немало интересного, но она не затмевает и, пожалуй, вряд ли когда-нибудь сможет затмить само Событие, послужившее поводом к ее началу. Что позволяет вновь задаться вопросом: что же в действительности демонстрирует «Черный квадрат»? – В смысловом отношении – абсолютное совпадение оригинала и копии, в этом Месте они совпадают настолько, что оказываются неразличимы. Однако сегодня ситуация становится еще более интересной: оригинал картины Малевича оценивается в миллионы долларов, тогда как любая «копия» (или повтор, который способен сделать каждый) не будет стоить ни цента. И это очевидно: «Черный квадрат» не нуждается в повторе, – эта Вещь самодостаточна и самодостоверна настолько, что обесмысливает саму возможность ее воспроизведения. (Однако анекдотичность ситуации заключается в том, что бессмысленность копирования отнюдь не исключает возможность подделки, на что провоцирует аукционная стоимость оригинала.) С ней необязателен даже визуальный контакт, любой способен представить ее в собственном воображении, – достаточно имени (названия «картины»). И это также парадоксально: название «картины» здесь полностью совпадает с тем, что она «изображает». – Зазор между означающим и означаемым полностью отсутствует. «Картина» именно это и демонстрирует: присутствующее отсутствие этого зазора. Поэтому она является Знаком как таковым, или чертой соссюровского алгоритма, но уже не отделяющей означающее от означаемого, а соединяющей – *уже-соединившей* – их в одно целое.

В этом смысле жест Малевича свидетельствует о том, что мы имеем дело с абсолютным произведением искусства. Что же при этом происходит с самим искусством? – «Черный

квадрат» распрямляет *складку* произведения, лишая само произведение – произведение искусства – возможности быть таковым. Возвышенное (эстетическое) нейтрализуется, утрачивая свое место. Происходит абсолютная геометризация того сакрального пространства, которое в (до)модернистском искусстве традиционно пред-назначалось для размещения/развертки в нем некоего события, сюжета, или Вещи. Вместе с тем «Черный квадрат» – это безусловно событие. Лат. *absolutus* буквально и значит «безусловный». Безусловное – синоним основания. Иначе, «Черный квадрат» может быть назван *событием как таковым*. Его самоосновность аутентична, или *есть* аутентичность, настаивающая на самой себе. Поэтому событие-как-такое всегда оказывается «знаковым». По существу, оно служит *точкой пристежки*, когда все остальные события, например, другие картины того же Малевича, в пределе всегда соотносятся – начинают соотноситься – именно с ним. Причем не столь важно, *какие* вопросы здесь возникают (хотя это тоже показательно и *имеет значение*). Важно то, что они *возникают*. – Что такое «Черный квадрат»? Что этим хотел сказать Малевич? «Черный квадрат» – это *произведение*? Какое отношение всё это имеет к искусству?.. – Череда вопросов бесконечна.

Эта бесконечность вопрошания свидетельствует о том, что «Черный квадрат» с необходимостью должен быть назван *произведением*, но произведением *концептуальным*. В качестве концепта «Черный квадрат» всегда сохраняет собственную притягательность и актуальность. Если же он рассматривается исключительно в качестве произведения, всё происходит «с точностью до наоборот». – Черный квадрат (воз)действует отталкивающе, поскольку «созерцать» здесь собственно нечего. Поэтому в системе творчества Малевича эта «картина» выполняет как минимум двойную функцию: функцию замыкания/размыкания самой системы. Она функционирует как лакановский *objet a*, который по отношению к самой системе оказывается одновременно и избыточным, и

недостаточным. Теория «прибавочного элемента» в живописи, развиваемая Малевичем, воплощается именно таким образом.

Вещь и Место совпали, обозначив предел. – Место («квадрат») оно же Вещь (черный цвет, символизирующий пустоту, «тьму», или «лишенность»), и наоборот. – Обратимость структуры Вещи и Места может быть проинтерпретирована и иначе. С. Жижек отмечает: «В своей замечательной работе «Объект века» Жерар Вейсман делает следующее предположение: разве модернистское искусство не было сосредоточено на том, как сохранить минимальную структуру возвышенности, минимальный зазор между Местом и занимающим его элементом? Разве не по этой причине «Черный квадрат» Казимира Малевича передавал диспозитив художника в его предельно элементарном, сведенном к голому различию между Пустотой (белый фон, белая поверхность) и элементом («тяжелым» пятном квадрата) виде?» [4].

«Голое» черно-белое различие служит указанием на то, что высокое и низкое могут поменяться местами. На что и обращает внимание С. Жижек: «Проблема заключается в том, что сегодня, в двойном движении прогрессирующей коммодификации эстетики и эстетизации мира товаров, «прекрасный» (доставляющий эстетическое удовольствие) объект все в меньшей и меньшей степени способен сохранять Пустоту Вещи. Парадоксальным образом получается так, что единственный способ, позволяющий сохранить (святое) Место, – заполнить его мусором, экскрементами, отбросами. Иначе говоря, именно художники, которые сегодня выставляют художественные объекты типа экскрементов, не столько подрывают логику возвышенного, сколько отчаянно стремятся спасти ее. А вот результаты этого коллапса элемента в Пустоту самого Места потенциально катастрофичны: не существует символического порядка без хотя бы минимального расстояния между элементом и его Местом. Иначе говоря, мы живем в символическом порядке только постольку,

поскольку каждое присутствие появляется на фоне его возможного отсутствия...» [4].

Иначе, сегодня – в отчаянном стремлении спасти логику возвышенного – современное искусство переходит предел, предустановленный в начале XX века в творчестве К. Малевича. – «Переходит» посредством его снятия (в гегелевском смысле). «Снятие» предела не преодолевает сам предел, но оставляет его позади. Предел сохраняется в качестве «снятого» и напоминает о себе, упорствуя и сопротивляясь выходу на поверхность. «Снятый» предел заявляет о себе *симптоматически*. Что может (в действительности) занять место *черного квадрата* (место Возвышенного, потерявшего свое место)? – Непристойное: мусор, отбросы, экскременты и т.д. Концепт уступает место симптому. Уступает тогда, когда перестает восприниматься в этом качестве, т.е. в качестве концепта. Возникает «отчаянное стремление» любой ценой спасти/вернуть утраченное. Отчаяние свидетельствует о бессилии (как художественном, так и концептуальном). Если это и не конец искусства, то во всяком случае предвестие того, что он близок.

Известно, какое значительное влияние оказало творчество К. Малевича на становление и развитие русского авангарда [3]. В текстах Д. Хармса (экземпляр теоретической работы Малевича «Бог не скинут», подаренный ее автором Хармсу 16 февраля 1927 года, имеет следующее посвящение: «Идите и останавливайте прогресс») присутствует множество элементов, которые также могут быть названы «прибавочными» [3. С. 309]. Они рассеяны по всему корпусу хармсовских текстов, и уже одного их присутствия достаточно, чтобы смысл текста непрерывно сохранял собственную подвижность.

Как, например, в известной «Песенке ни о чем»:

*Все все все деревья пиф!
все все все камня паф!
вся вся вся природа пуф!*

*Все все все девицы пиф!
все все все мужчины паф!
вся вся вся женитьба пуф!*

*Все все все славяне пиф!
все все все евреи паф!
вся вся вся Россия пуф!
«Октябрь 1929» [6. С. 93]*

Что означают эти междометия – «пиф», «паф», «пуф»? Какова их семантика? Прежде всего они являются собственно *междометиями*. Но скорее не с лингвистической точки зрения, а с сугубо терминологической. Уже лингвистика отводит им совершенно особое место среди других разрядов слов, или «частей речи». В этом ряду междометия занимают *последнее место* (последнее в ряду, но не по значению). Однако их (существо) характеризует то, что они оказываются соотносительными не с какой-либо отдельной частью речи (например, существительным или глаголом), но со всей совокупностью «самостоятельных» слов – «частей речи» – с одной стороны, и «служебных» – с другой. При этом, по канонам лингвистики, междометия не связываются синтаксически с другими словами в предложении и не выступают в качестве его членов. Терминологически «междометие» является калькой с латинского *interjectio*, дословно – «вбрасывание» [2. С. 259]. Как «прибавочный» элемент оно «вбрасывается» в речевой оборот, занимая свое место между другими его элементами и акцентируя это «между» (первоначально междометие писалось с «у» – междуметие).

Какое же *место* помечает «прибавочный» элемент? Во-первых, он маркирует само место («между»), которое сам же и занимает. Во-вторых, занимая это место, он буквально *занимает* (в значении: «брать в долг») его у смысла. Смысл как идеальная величина материализуется в знаке, структурирующем высказывание и/или текст в целом. Структурируя целое, «прибавочный» элемент одновременно оказывается и *вписанным*, и *не вписанным* (не вписывающимся) в смысловую ткань текста. Вернее, сама эта «ткань» должна быть (вос)произведена в акте/процессе интерпретации. «Прибавочный» элемент предоставляет саму возможность интерпретации, характер (направленность) которой зависит от того, кто выступает в роли интерпретатора. По сути, Хармс (большинство его «серьезных» сочинений) ставит литературоведение в неловкое положение, поскольку собственно литературоведческий анализ подобных текстов (в той мере, в какой он претендует на научность и объективность) оказывается проблематичным. На вопрос «Как может быть проинтерпретирован этот и подобные ему тексты?» может быть дан только один исчерпывающий ответ: как угодно (все зависит от желания, интеллекта и силы воображения). Необходимо лишь иметь в виду, что ни одна интерпретация в этом случае не будет являться «всеохватывающей» и/или «законченной» (т.е. «истинной»). «Прибавочный» элемент всегда сохраняет смысл в состоянии неопределенности. Иначе, смысл сохраняется ровно до тех пор, пока сохраняется его неопределенность (на что «пиф», «паф» и «пуф» дают полную и бессрочную гарантию). Другими словами, если «прибавочный» элемент, занимая свое место, одалживает его у смысла, то в дальнейшем уже никогда не возвращает долг окончательно.

В философской системе Я.С. Друскина – одного из участников философско-литературного содружества чинарей, к которому принадлежал и Д. Хармс, – в качестве аналога «прибавочного» элемента выступают стилистически нейтральные указательные местоимения «это» и «то».

В трактате «Окрестности вещей» Друскин пишет: «Это, то, это в отличие от того, это как то, это и то, граница между этим и тем – все они имеют одно место» [5. С. 828]. О каком месте здесь идет речь? – Очевидно о том, на которое указывают «это» и «то». Указывая на *это* (единственное) место, «это» и «то» предъявляют его таким образом, что само *место* всякий раз оказывается точкой расхождения двух противоположных «смыслов-направлений» (термин Ж. Делеза). – «Единица делится надвое» (А. Бадью). У Друскина *это* и *то* делят единицу надвое до бесконечности. «Прибавочный» элемент здесь как бы предстает в *раскрытом* виде. Его избыточность и недостаточность раскрываются как *это* и *то*, или непрерывно «распределяются» между *этим* и *тем*. Возникает возможность установления различных эксплицитных отношений, которые являются точечными состояниями смысловой неопределенности, стремящейся к самоопределению. Понятие «небольшой погрешности», вводимое Друскиным, выражает само это состояние неопределенности (*определенной неопределенности* точки), акцентируя его подвижность: некоторое равновесие между этим и тем постоянно нарушается и восстанавливается. Но оно никогда не нарушается окончательно (до полного разрыва) и никогда не восстанавливается целиком (до полной определенности). – Смысл «мерцает» лишь постольку, поскольку сохраняется «некоторое равновесие с небольшой погрешностью».

Вот как описывается феномен мерцания еще одним представителем содружества чинарей А. Введенским: «Пускай бегают мышь по камню. Считай только каждый ее шаг. Забудь только слово каждый, забудь только слово шаг. Тогда каждый ее шаг покажется новым движением. Потом так как у тебя справедливо исчезло восприятие ряда движений как чего-то целого что ты называл ошибочно шагом (Ты путал движение и время с пространством. Ты неверно накладывал их друг на друга), то движение у тебя начнет дробиться, оно

придет почти к нулю. Начнется мерцание. Мышь начнет мерцать. Оглянись: мир мерцает (как мышь)» [1].

«Мерцание» смысла создает эффект *головокружения*. В текстах Друскина подобный эффект достигается за счет того, что происходит смешение терминов («это» и «то»), которые никак не выделяются на знаковом уровне (пунктуационно), с указательными местоимениями как таковыми. – Последние перестают выполнять свою «служебную» – сугубо лингвистическую – функцию и на определенном этапе исследования (как правило, уже начальном) начинают вплетаться в смысловую канву рассуждений. Подобное смешение вызывает еще один эффект – эффект *смещения*. Поэтому в смысловом отношении текст оказывается системой точек, каждая из которых выступает местом *поворота* (еще один термин, вводимый Друскиным). Следовательно, «если два слова соединены в одном направлении, то уже второе ничего не обозначает» [5. С. 813]. Слова (и/или термины) «касаются» друг друга «на повороте», высвобождая само *место* для наполнения его новым смыслом. Все «места», собранные воедино, представляют собой топологическое пространство текста. При этом переход от одного «места» к другому происходит мгновенно, при «выключенном» времени. Поэтому, как говорит Друскин, «я» знает лишь *начало мгновения*, конец которого утерян. Процесс письма превращается в своего рода *парение* между временем и вечностью (*между* «этим» и «тем»). В этом смысле понятие «начало мгновения» является тавтологией: мгновение и есть начало и наоборот – начало и есть, собственно, мгновение. Каждое мгновение *единственно*. – Мгновения не следуют друг за другом в некой последовательности, скорее всякая последовательность предстает, или предъявляет себя, мгновенно.

В «Исследовании об этом и том» Друскин отмечает: «Высказывание этого не переходит в высказывание того. Я заметил некоторый поворот, столкновение двух граней, прикосновение чего-либо к чему-либо, и я сказал: это – то. Но я допустил ошибку, сказал это в отличие от того, то в отличие от

этого. В некотором равновесии это будет небольшой погрешностью. Эта ошибка только возможна, я не смог сказать этого в отличие от того. Также эта ошибка есть высказывание – возможность перехода этого в то. Существует поворот, как соприкосновение двух систем: старой системы с названиями, не имеющими значения, и новой мгновенной системой частного случая. Возможность поворота есть высказывание – переход этого в то» [5. С. 783]. И далее: «Сейчас и сейчас не соединены. Но прежнее сейчас не пропадает. Нельзя сказать «прежнее сейчас», есть одно сейчас – это, в определенное время и при определенных условиях. Есть некоторое несоответствие в том, что сейчас определяется временем и другими условиями – это несоответствие определенное. Что же касается до определенного времени и других условий – это возможность, никогда не осуществляющаяся» [Там же].

В понятийном плане термины «это» и «то» задают предел манифестации, который требует осмысления. Это *терминологический* предел, дальше которого в философском дискурсе пойти невозможно. Это не значит, что он не может быть преодолен, это значит, что он должен быть переосмыслен в *концептуальном* отношении. То же самое относится и к понятию «прибавочного» элемента, как он дает о себе знать в различных символических системах, будь то живопись или литература. По существу и К. Малевича, и Д. Хармса, и Я. Друскина объединяет как раз эта черта: пусть в разных областях, но они сумели коснуться одного и того же предела, предоставив последний тому, что именуется интерпретацией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Введенский А. И. Серая тетрадь. – Режим доступа: <http://anthropology.rinet.ru/old/4-93/vvedemski.htm>
2. Голанов И. Г. Морфология современного русского языка. М.: Высшая школа, 1965.
3. Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда / Пер. с фр. Ф. А. Перовской. – СПб.: Академический проект, 1995.
4. Жижек С. Хрупкий абсолют. – Режим доступа: <http://xz.gif.ru/numbers/47/koka-kola/>
5. «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чиняри» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. Т. 1.
6. Хармс Д. Жизнь человека на ветру. СПб.: Издательство «Азбука», 2000.

ЗНАКИ-ИЕРОГЛИФЫ РАЗЛИЧЕННОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

В трактате Я.С. Друскина «О понимании» (в рукописи название отсутствует) утверждается тождество существования и обозначения. Существующее определяется к существованию возможностью обозначения. Разграничивая понятия *способности* и *возможности*, Друскин отказывается от употребления первого термина, поскольку существование того, кто обозначает, неотделимо от обозначения и обозначенного. – «Мое отношение к чему-либо, характер и способ обозначения – это и есть я. Мои обозначения – это обозначение меня самого» [3. С. 834]. Поскольку способности существуют только потенциально, эта потенциальность «предполагает существование меня, как субстанции, отдельно от моего отношения к чему-либо» [3. С. 834]. Но существование обозначающего, или высказывающегося, раскрывается как возможность обозначения, т.е. целиком определяется через обозначение, или означивание. Определенность существования предъявляет себя в знаке. Само «существование» оказывается знаком, существующим наряду с другими знаками, в том числе – и знаком «несуществования». Необозначенное, то, на что нельзя указать, есть несуществующее, но это (как бы) несуществующее тем не менее обладает некоторой реальностью. Его реальность сохраняет собственную неопределенность, которая также отмечена знаком. Метой «необозначенного» становится «неопределенность» и потому «необозначенное» (здесь) существует (может существовать только) как обозначенное. Иначе, «необозначенное» всегда уже (как-то) обозначено.

Поэтому на вопрос «существует ли субстанция обозначенного или чего-либо?» Друскин отвечает: «Мы не можем говорить о субстанции чего-либо, потому что необозначенного не существует, если же что-либо существует, то только обозначенное, то есть что-либо это или то» [3. С.

835]. И далее: «Существование – это обозначение, то есть определенное существование, но существующее шире определенного существования, оно шире существования вообще» [3. С. 835]. Определенное существование представляет собой *срез* (термин Ж. Делеза и Ф. Гваттари) существующего или осуществляющегося – того или иного события, или состояния. Срез производится знаком в одно касание, т.е. мгновенно, но так, что в остатке всегда остается гораздо больший объем событийности, который в пределе оказывается бесконечным. Причем речь идет о прикасании к реальности: «Под знаками я понимаю не мысли или ощущения, но именно реальность» [3. С. 840]. Это (при)касание именуется Друскиным *поворотом*. Но какая реальность или реальность чего здесь имеется в виду? Единственную реальность, по-видимому, составляют знаки, имеющие отношение к тому, что происходит в *это* мгновение – здесь-и-сейчас. То, что происходит здесь-и-сейчас, есть ближайшее, вблизи чего мое существование каким-то образом дает о себе знать. Эта близость традиционно эксплицируется как *понимание*. Поэтому точка здесь-и-сейчас – это поворотная точка понимания, возвращающая мне мое собственное, или собственное мое, символические выраженные в каком-либо знаке.

Проблема заключается в том, что мое существование лишено индивидуального знака, но в то же время знак – это единственное, в чем может быть выражено то *мое*, или *собственное* (оно же «внутреннее»), которое для меня есть, с одной стороны, безусловно реальное, а с другой – столь же безусловно воображаемое и/или иллюзорное (триада Ж. Лакана). Возникает зеркальная обратимость реального и воображаемого. Реальное обретает действительность в воображении (ровно) в той мере, в какой воображаемое действительно становится реальным. Мое существование лишено индивидуального знака, поскольку ни имя собственное, ни имя нарицательное не выражают моей самости (или индивидуальности) и изначально мне не принадлежат. Отсюда появляется-

ся возможность (или в каких-то случаях необходимость) самоименования, реализуемая в псевдонимах (у Д. Хармса их было более тридцати) или эзотерических терминах, таких, например, как *чинарь*. Если (вслед за Друскиным) придерживаться тезиса о том, что знаки образуют порядок реального, то плану воображаемого будет соответствовать представление о существовании самости, моего «внутреннего», или – в терминологии Ж. Лакана – *das Ding*. Воображаемый порядок реального выстраивается *символически*. Т.е. между реальным и воображаемым происходит своего рода *символический обмен* (термин Ж. Бодрийера), который с необходимостью должен быть выражен в знаке. Но уже не в простом, а в некоем особом знаке, способном выразить символическое отношение как таковое. Следовательно, он нуждается в имени.

У чинарей такой знак получает имя *иероглифа* (термин вводится Л.С. Липавским). В «Звезде бессмыслицы» – работе, посвященной прежде всего анализу поэтики А. Введенского, – Друскин отмечает: «Иероглиф двузначен, он имеет собственное и несобственное значение. Собственное значение иероглифа – его определение как материального явления – физического, биологического, физиологического, психофизиологического. Его несобственное значение не может быть определено точно и однозначно, его можно передать метафорически, поэтически, иногда соединением логически несовместимых понятий, т.е. антиномией, противоречием, бессмыслицей. Иероглиф можно определить как обращенную ко мне косвенную или непрямую речь нематериального, то есть духовного или сверхчувственного, через материальное или чувственное» [2. С. 551]. У Л.С. Липавского, в частности, примерами иероглифов служат *листопад* (цикличность существования, оппозиция жизни и смерти), *огонь* (метафора света, оппозиция света и тьмы), *вода* (метафора текучести, оппозиция времени и вечности; в «Трактате о воде» у Липавского Стоячая Вода становится «твердой как камень») и другие Знаки, в том числе литературные (*Въезд Чичикова в город* в начале

гоголевских «Мертвых душ») и кинематографические (*Уходящая вдаль Дорога*, которой оканчивается фильм Чаплина «Пилгрим»).

Лингвистическая дефиниция идеограммы акцентирует: идеограмма – как письменный знак – обозначает (в отличие от букв) не звуки какого-либо языка, а *целое понятие*. Тем самым знак, называемый иероглифом, – знак-иероглиф – устанавливает и закрепляет символическое отношение, возникающее между порядком реального и планом воображаемого. Это отношение *переполняет* знак, в результате чего он как бы удваивается изнутри, одновременно и совпадая, и не совпадая с самим собой. Поэтому Друскин определяет иероглиф как «различное в том же самом или то же самое в не том же самом» [2. С. 551]. В этой связи ключом к прочтению формулы Друскина «это и то» может также служить понятие иероглифа. «Это и то» – это в одно и то же время и «два в одном» и «одно в двух», т.е. это и *единица*, которая непрерывно *делится надвое* (А. Бадью) до бесконечности, и два ее конечных/ставших состояния, между которыми всегда присутствует «некоторое равновесие с небольшой погрешностью» (второй термин Друскина, неразрывно связанный с первым – формулой «это и то»). Кроме того «это и то» составляют минимум и максимум возможного. Минимумом здесь оказывается предел, дальше которого в философском дискурсе пойти невозможно. Иначе, это предельное сжатие, которое неслучайно (у самого Друскина) получает наименование *формулы*, – это то, что может быть названо пределом манифестации. Но это не только предел манифестации, это также предел сигнификации и денотации (терминологическая триада Ж. Делеза). Максимумом же здесь выступает бесконечность, или бесконечная возможность самоопределения «этого» и «того» в бесконечном множестве имен традиции. Это пре-

дельное расширение: *окрестности*¹ «этого» и «того» необозримы.

Первоначально «это» и «то» в формуле (формуле/иероглифе) Друскина связывает союз «и». Но эта связка предполагает возможность утверждения и других отношений, по существу – *всех* возможных (символических) отношений, которые становятся равновозможными: это в отличие от того, это как то, это есть то и т.д. Поэтому «невозможно дать полный список преобразований» («этого» и «того»), а единственным постулируемым правилом в «науке об этом и том» становится «правило осторожности». – «Вот в чем оно заключается: если два слова соединены в одном направлении, то уже второе ничего не обозначает» [5. С. 813]. Соблюдение предельной осторожности при разворачивании рассуждения способствует тому, что не ближайшее отсекается, остается лишь мерцающее настоящее – *это, сейчас*, или *начало мгновения*, конец которого утерян («конец» одного мгновения совпадает с началом другого). Существование, *стянутое* в сквозную точку настоящего, занимает определенную *высоту*, ее знак – это новое имя, но новое имя – это всегда поворот, т.е. «переход от одной высоты к другой». Высота же есть «различие в существовании», поэтому она (с необходимостью) должна изменяться, но все ее изменения свидетельствуют лишь об одном: «существуют различные степени реальности, но нет неполной или частичной реальности», – она (как и знак, знак/иероглиф) либо есть, либо нет [3. С. 838]. Поскольку высота всякий раз требует переобозначения, она оказывается одновременно и иероглифом (знаком различного существования), и «системой частного случая», так как при набрасывании рассуждений заново повтор предыдущей траектории движения (или *парения* между «этим» и «тем») исключен (и не имеет смысла).

¹ Еще один термин Друскина, требующий специального рассмотрения.

Друскин задает вопрос: как возможны *другие* обозначения, *другая* определенность, «как существует что-либо, как оно возникает благодаря обозначению»? – И отвечает: «Это возможно только потому, что существующее шире определенного существования, шире всякой определенности. Существующее – это существующее вместе с несуществующим» [3. С. 835]. Определенное существование – тот или иной «частный случай» – никогда не является завершенным. А посему «требование полноты² лишено смысла» [5. С. 813]. «Система частного случая» задает ограничение, но граница предъясняется в знаке, или системе знаков, – это некая отграниченная область существования, окрестности которой всегда превышают регион обозначенного, поскольку знаковое пространство бесконечно. Тогда «частный случай» обречен на фрагментарность. И она отчетливо прослеживается, причем не только в творчестве Друскина, но характерна для «чинарного» искусства в целом. Самым «фрагментарным» безусловно должен быть назван корпус текстов Д. Хармса, менее «фрагментарны» (это не так заметно, но только на первый взгляд) тексты Л. Липавского и А. Введенского (несколько особняком здесь стоит фигура Н. Олейникова). Однако о какой фрагментарности идет речь? Это ни в коем случае не «фрагментарное изложение», не некие «обломки», «остатки», или «отрывки» чего-либо. Пожалуй, это то, что может быть названо *концептуальной фрагментарностью*. Она концептуальна в том смысле, что содержит (и удерживает) в-себе определенное состояние или событие, являющееся – во всех возможных смыслах – знаковым. Каждый такой фрагмент передает вписанное в него положение вещей совершенным образом, или способом. Совершенным – не в смысле идеальным, это не *красивое письмо*, – положение вещей может быть и ужасающим или даже вызывающим отвращение (поздняя проза

² Полноты в значении исполненности, т.е. полной завершенности.

Хармса). Чинари отказываются от критерия красиво/некрасиво, в действие вступает принцип правильно/неправильно. *Правильно написанная вещь – это запись того, что покидает собственные окрестности.* Это то мгновенное, что происходит с происходящим здесь-и-сейчас. Иными словами, это осуществляющееся, захваченное собственным осуществлением (и вписанное в него). Это одна сторона события, состояния, происшествия или положения вещей – его *универсальная* «составляющая». Другой стороной события – его *уникальной* «составляющей» – оказывается оно само: событие всякий раз покидает собственные окрестности *иначе*. В *это* мгновение – так, в *другое* – по-другому. Но само событие не принадлежит ни одной из сторон, скорее наоборот: обе они принадлежат тому, что находится и распознает себя *между* ними. Иначе, совершенное событие, или *совершенный фрагмент*, выражает собой – своей собственной записью – тождество универсального и уникального. Наверное лучшей иллюстрацией тому может служить «Совершенный трактат об этом и том». Приведем это рассуждение³ Друскина целиком.

«Скажу что-либо. И сказав что-либо, сказал это. Сказав это, сказал в отличие от того. Сказав в отличие от того, сказал и то. Сказав и то, сказал одно целое. Сказав в отличие от того, сказал одно. Сказав одно целое, сказал всего что-либо. Сказав одно, сказал всего это. Это будет первое основание, и в нем два направления: к одному целому и к одному. Скажу что-либо. И сказав что-либо, сказал это. Сказав это, сказал в отличие от того. Сказав в отличие от того, сказал как другое. Сказав как другое, сказал как то. Сказав как то, сказал в отличие от этого. Сказав в отличие от этого, сказал и это. Сказав и это, сказал одно целое. Сказав в отличие от этого, сказал одно. Сказав одно целое, сказал всего что-либо. Сказав

как одно, сказал всего то. Это будет второе основание, и в нем также два направления: к одному целому и к одному. Заключение первое. Скажу это. И сказав это, сказал в отличие от того, и как другое, и как то. Скажу то. И сказав то, сказал в отличие от этого, и как другое, и как это. Заключение второе. Скажу что-либо. И сказав что-либо, сказал это, и в отличие от того, и то, и как другое, и как то. Также и то; и в отличие от этого и как другое и как это. Заключение третье. Первая часть. Скажу что-либо. И сказав что-либо, сказал это, в отличие от того, как другое, как то, то, в отличие от этого, как другое, как это, это. Подобно этому и то. И это есть одно – всего это или всего то. Скажу что-либо. И сказав что-либо, сказал это, то, одно то, другое то. Подобно этому и то. И это есть одно – всего что-либо. Вторая часть. Скажу это в отличие от того. И сказав это в отличие от того, сказал как другое. Но это – это. Если же отлично от того, то и то от этого. Поэтому сказав, как другое, сказал как то. Подобно этому и то. Заключение четвертое. Первая часть. Скажу это и то. И если скажу как одно целое и другое целое, то мне нечего разбирать. Если же как то и это, это будет различием в чем-либо. Если же как это и то, то и не сказав то, сказал то и это называется: сказать до того, как сказано. Скажу то и это. И здесь будет также, как если бы сказал это и то. Вторая часть. Скажу одно. И сказав одно, сказал это и в отличие от того и то, и в отличие от этого и все прочее: это – то – это – то. Одного же нет. Подобно этому и то. Скажу одно целое. И сказав одно целое, сказал что-либо. Но что-либо не сказать. Поэтому ничего не сказал. Одного нет. Основание всякого основания. Скажу что-либо. И сказав что-либо, сказал это, и в отличие от того, но не сказал: это в отличие от того. Тогда сказал как другое, как то, то. Также и то. Это стоит в том, то – в этом. Но стоит то в чем? В чем-либо. Что? Что-либо. Скажу что-либо. И сказав что-либо, сказал это, и в отличие от того и то, но не сказал это и то. Тогда перешел к тому, а от того к этому. Также и то. Это, то переходит в чем-либо. Когда это сто-

³ «Совершенный трактат об этом и том» – фрагмент текста Друскина «Разговоры вестников»; этот текст (или цикл) объединяет девять трактатов и аккумулирует основные понятия, входившие в круг размышлений чинарей.

ит – стоит в том. Когда переходит – переходит в чём-либо. Но это стоит в том – в чем-либо. Переходит в чем-либо к тому, и вот стоит в том. Стоит и переходит. Подобно этому и тому» [4. С. 811-814].

Тексты Друскина, безусловно, сложны для прочтения. Но этот текст просто нечитабелен. Его невозможно прочесть до конца, не потеряв нить рассуждения. Но именно этим он и завораживает. Как замечает Ж. Бодрийяр, «нас всегда очаровывает то, что своей логикой и своим внутренним совершенством полностью исключает нас...» [1. С. 119]. Это трактат-иероглиф, его совершенство заключается, с одной стороны, в его абсолютной закрытости (или эзотеричности), а с другой – в столь же абсолютной открытости (или экзотеричности). Чему же «открыт», или «распахнут», этот текст? Вы скажем предположение: эта вещь написана только для того, чтобы уступить свое место интерпретации. Она, как и «Черный квадрат» К. Малевича, готова сделать это в любой момент (своего существования). Это единственный смысл, который «присущ» этому совершенному фрагменту, – совершенной вещи (*das Ding*), «вещи-в-себе» и/или «вещи-для-нас». Поиски чего-то большего, какого-то «скрытого» смысла, или «тайного» кода, здесь заранее обречены на провал. Но интерпретация в таком случае уже не будет интерпретацией чего-то *внешнего* по отношению к ней, т.е. интерпретацией некоего текста, предположительно обладающего своим собственным смысловым измерением, или содержанием. Презумпция (существования) смысла отменяется. Исчезает привязка к Смыслу – исчезает и привязка к Тексту. Следовательно, интерпретация *совершенного фрагмента* застает себя на месте *отсутствующего текста*. В состоянии саморефлексии она вынужденно захватывает (заполняет) это место целиком. В совпавших времени и месте возникает сквозная точка настоящего «здесь-и-теперь», – это всегда смещенная «точка зрения»: точка самоименования смысла существования самой интерпретации. Задача обнаружения этой точки принадле-

жит к дальнейшим перспективам исследования «науки» об «ЭТОМ» и «ТОМ».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака / пер. с фр. Д. Кралечкин. – М.: Академический проект, 2007.
2. Друскин Я. С. Звезда бессмыслицы // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. Т. 1. С. 549-642.
3. Друскин Я. С. О понимании // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников. Том 1. С. 835-841.
4. Друскин Я. С. Совершенный трактат об этом и том // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников. Том 1. С. 774-776.
5. Друскин Я. С. Это и то // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников. Том 1. С. 811-814.

«СОСЕДНИЕ МИРЫ» Я.С. ДРУСКИНА

В круг наиболее интенсивно обсуждавшихся чинарями понятий входили – среди прочих – термины «вестник» и «соседний мир», предложенные Л. Липавским. Они были «подхвачены» Я. Друскиным и Д. Хармсом, который, по воспоминаниям Друскина, в сентябре 1933 г. произнес: «Вестник – это я» [5. С. 128]. Что же обозначали эти термины, каков их смысл и почему они оказались столь востребованными внутри этого эзотерического содружества («сборища») пяти друзей, «оставленных судьбою» – троих поэтов (Введенский, Хармс, Олейников) и двоих философов (Друскин, Липавский)? Все эти вопросы так или иначе отсылают к понятию или скорее *теме интерпретации*, поскольку лишь интерпретация способна предоставить то, на что она сама нацелена, из чего исходит и чем ведома. Иначе, она одновременно есть и способ, и возможность обоснования самого способа набрасывания рассуждений в отношении того, что подлежит раскрытию в качестве всегда уже каким-то образом предъявленного, т.е. поименованного.

Позднее Друскин вспоминает: «Соседняя жизнь, соседний мир – темы, интересовавшие Липавского: мы живем в мире твердых предметов, окруженные воздухом, который воспринимаем как пустоту. Как ощущает себя полужидкая медуза, живущая в воде? Можно ли представить себе мир, в котором есть различия только одного качества, например мир одних лишь температурных различий? Каковы ощущения и качества существ, живущих в других, отдаленных от нашего, соседних мирах, наконец, в мирах, может быть даже не существующих, а только воображаемых? Соседний мир может быть и во мне самом. Однажды Липавский даже предложил имя для существа из такого воображаемого мира: «вестник» – буквальный перевод слова *αγγελος*. Но с Ангелами вестники не имеют ничего общего. Это именно существа из воображаемого мира, с которыми у нас, возможно, есть

нечто общее; может быть, они даже смертны, но в то же время сильно отличаются от нас. У них есть какие-то свойства, которых у нас нет. Вскоре после разговора с Липавским о вестниках мне внезапно представился такой отдаленный от нас и в то же время чем-то близкий нам соседний мир вестников» (Цит. по: [5. С. 123-124]).

В последней фразе Друскин имеет в виду «Разговоры вестников» – довольно объемный текст (или цикл), объединяющий девять трактатов, написанных им в 1932-1933 гг. В первом из них – трактате «О некотором волнении и некотором спокойствии» – рассуждение начинается с вопроса об отношении, связывающем *сказанное* и *несказанное*, как *это* и *то*. Здесь же возникает вопрос о том, *что* это за отношение и *как* оно устанавливается? Попытаемся на него ответить.

Между сказанным и несказанным присутствует нечто, что не принадлежит ни тому, ни другому. В смысловом отношении – это само «между», в буквальном (формальном, или грамматическом) – отрицание, закрепляемое (в «несказанном») префиксом «не». Эти два плана – смысловой и грамматический – образуют некое единство, имя которого сохраняет неопределенность, поскольку всегда оказывается на стороне несказанного. Сказанное – в его определенности – совпадает с высказанным в нем смыслом вплоть до полного исчерпания последнего. Повтор сказанного служит указанием на то, что сказанное в сказанном начинает испытывать нехватку смысла. Сказанное не нуждается в повторе, он ничего не добавляет к сказанному, но лишь удваивает уже высказанное, устанавливая пустое тавтологическое отношение. Но удвоение, или тавтология, – это *различный* повтор, утверждающий сказанное в качестве *различного* (этого сказанного). Эта различность заявляет о себе в двойном смысле – как по отношению к сказанному, так и по отношению к тому, что превышает сказанное, что размещается за ним и не имеет имени, или обозначения. Место отсутствующего имени за-

нимает отрицание – это «несказанное», которое само становится предельным именем сказанного.

Несказанное, в терминологии Друскина, составляет *окрестности* сказанного. Это соседний мир, близость которого дает о себе знать в момент его касания. На стороне несказанного – возможность высказывания, или, вернее, ее «место» располагается *между* сказанным и несказанным – между «уже-не» и «еще-не» существующим. Она может быть реализована только через высказывание, т.е. в самом акте высказывания. Иначе, все, что происходит (или случается), происходит между «этим» и «тем» (сказанным и несказанным). Если сказанное выражает какой-либо определенившийся порядок, то доминирующее отношение в этом порядке утверждается тем, кто высказывается. Это субъект высказывания, или, по Ж. Делезу, манифестатор («Я»), отсутствующий в сказанном. Его отсутствие в сказанном обусловлено тем, что сказанное всегда уже высказано. То же самое относится и к записи, т.е. записанному. Но он также отсутствует и в несказанном, поскольку оно всегда еще не высказано. Тем самым между сказанным и несказанным возникает временное отношение, распределяющее, соответственно, первое и второе между прошлым и будущим. Настоящему принадлежит акт высказывания, в котором манифестатор расстается с самим собой в порядке высказываемого, исключая себя из того, что таким образом выражается.

То есть (со)присутствуют как бы два порядка, или плана, проникающие друг в друга в высказывании. В триаде Ж. Делеза они именуется сигнификацией и денотацией (третья структурная составляющая – манифестация – замыкает их на себе и одновременно является по отношению к ним «точкой бифуркации»). Сигнификация представляет порядок обозначения, денотация – то, что показывается в первом порядке в качестве обозначаемого. Иными словами, это порядки языка и мира. Они встречаются в высказывании, но если это происходит, то только благодаря тому, что понимание

происходящего (здесь-и-сейчас) приходит со стороны миропорядка. Если же подобного самораскрытия не происходит, наступает состояние игнавии, или неразличности, которое мешает видеть. – «Я» как бы «зависает» между «этим» и «тем», не имея возможности провести между ними различие. В своих дневниковых записях Друскин отмечает: «Игнавия <...> – это невозможность и быть при деле и не быть при деле (25 мая 1967). Материальная игнавия или по содержанию – абсолютное состояние и причина того, что я не пишу. Формальная игнавия – уныние от того, что я не пишу, вернее от того, что я не могу освободиться от материальной игнавии. Дело не в том, чтобы писать исследования, игнавия мешает видеть, и от этого я не могу ни писать, ни видеть (24 декабря 1945)» (Цит. по: [5. С. 362]).

«Разговоры вестников» – в целом – в какой-то мере передают это состояние игнавии. Причем передают именно «в какой-то мере», или «в какой-то степени», поскольку все тексты цикла – так или иначе – опосредуют не состояние абсолютной неразличности (высказывание или запись в этом случае просто невозможны), а скорее состояние *различной неразличности*, которое позволяет высказываться об «этом» и «том» при соблюдении основного правила – «правила осторожности». Оно «основано на первом законе поведения: помнить то, что сейчас» [4. С. 813]. Это своего рода «мерцающее», или пульсирующее, «сейчас»: оно служит поворотной точкой в рассуждении, чья направленность проявляется в момент различения двух противоположных смыслов-направлений. Поэтому в отношении «Исследования об этом и том» (а «Разговоры вестников» включают в себя три таких исследования) Друскин поясняет: «Первоначально это трактат о невозможности рассуждения. Затем о возможности рассуждения через перечисление способов невозможности рассуждения. Наконец построение видимости как явления сущности <...>. Исследование о высказывании этого и того. Высказывание одного возвращается к высказыванию *этого* или

этого и *того*. Это уже метод: как делить, как называть и как продолжать разделение. Но в «Исследованиях об этом и том» имеется и о названиях, и о погрешности, и о времени, и о мгновении, и о последовательности» (Цит. по: [5. С. 362]).

Иначе, это метод нарушения/восстановления миро-порядка, собранного в предельной точке его языкового самоопределения. – Миропорядок раскрывается в той мере, в какой он соответствует собственной языковой проявленности. Это соответствие есть то единственное, к чему стремится манифестатор. В этом смысле «Разговоры вестников» могут быть проинтерпретированы диалогически. Тогда цикл представляет собой бесконечный диалог двух «соседних миров» – мира языка и языка мира. Их близость проговаривается, или прописывается, в высказывании-рассуждении, одновременно и размыкающем, и замыкающем то смысловое единство, которое этим мирам присуще. Это *различное* единство закрепляется в предельных терминах «это» и «то», символизирующих, с одной стороны, *необходимость* проведения различия, а с другой – всю *условность* последнего. Почему различие предъ-является *миро*-порядком, или всякий раз оказывается на стороне языка *мира*, т.е. приходит с *той* стороны? Вероятно потому, что мир изначально предстает в некой множественности, или *как* множественность в характеризующей ее разделенности. Но весть о мире приносит язык, поэтому любое касание мира (как «мира») происходит в имени, всегда уже имеющем собственное смысловое измерение. Названное имя в его смысловой наполненности отсылает к другим именам, образующим в порядке высказывания определенное единство, свойственное языку в целом. Неслучайно «всесилие языка состоит в том, чтобы говорить о словах» [2. С. 49]. То есть собственно миро-*порядок* укоренен в среде языка и производится высказыванием в той или иной последовательности рассуждений.

Что значит «в последовательности», как возможна «последовательность»? Последовательность есть переход *от*

чего-то *к* чему-то. Первый шаг в последовательности – это переход от одного к другому, от «этого» к «тому». Но невозможно перейти, не проведя различие между первым и вторым. При этом различие не «проводится» (не обладает временной протяженностью), но возникает «в одно касание». Это не временной акт, но и не вечный. Поэтому переход происходит «в один миг», и сама последовательно возникает мгновенно. Одно касается другого. Но если *касается*, то ближайшего. Но такого ближайшего, которое различено как «ближайшее». Различенное ближайшее уже не совпадает с «первым», но сохраняет с ним близость как «второе». Оно *непосредственно* связано с первым, но *отосредовано* по отношению к нему различием. Следовательно отношение, возникающее между «первым» и «вторым», есть некое «третье», но оно первично по отношению к обоим («первому» и «второму»). Оно мгновенно и нарушает, и восстанавливает равновесие между двумя – «этим» и «тем». Во втором трактате цикла – «Признаки» – Друскин акцентирует: «Слово «первый» нарушило равновесие. Слово «предмет» нарушило равновесие. Отсутствие второго называют предметом. Слово «иметь» нарушило равновесие. Когда его произносят, равновесие нарушается. Слово «касается» нарушило равновесие. Чего касается? Уже не себя. Слово «то» нарушило равновесие. В нем есть некоторая определенность. Самое обыкновенное слово нарушило равновесие. Обозначение чего-либо, знак, некоторая определенность, которая есть сейчас, нарушили равновесие. Это как неопределенное движение, которое приостановилось» [3. С. 767].

На место «третьего» не может претендовать ни «первое», ни «второе». Это точка касания, в которой происходит, или возникает, «некоторое волнение» и устанавливается «некоторое спокойствие». Кто или что застает себя в этой точке? Ответ на вопрос «что» очевиден: само касание как таковое. Если же спрашивать о «кто», то эта точка может принадлежать только манифестатору, но скорее правильное обратное:

манифестатор принадлежит этой точке, привязан к ней и не в силах с ней расстаться. В этой точке не может находиться никто, кроме него. Т.е. он должен целиком совпадать с ней, но так, чтобы само это со-впадение присутствовало, или имело место для него в качестве различенного. Выполнимо ли это условие? – И да, и нет. – Поскольку оно выполнимо лишь при условии его несоблюдения, и наоборот. Различая себя в этой «третьей» точке, манифестатор застает себя уже в другом месте, в терминологии Друскина, он как бы меняет *высоту*. Но изменение высоты для «Я», как манифестатора, есть по существу единственный способ сохранить близость с тем, что для него действительно является близким, т.е. буквально *является* таковым. Поэтому «некоторое волнение» мгновенно переходит в «некоторое спокойствие», которое – как остановка в пути – служит местом поворота, что позволяет продолжить путь, или изменить высоту. В «Признаках» Друскин говорит об этом так: «Если остановиться по дороге, не зная куда идти, то нет возможности продолжать путь в том же направлении. Если не дойти до второго, то направление потеряно. Поэтому остановка в пути есть выпина. Это в другом направлении, или здесь нет совсем направления, поэтому остановка в пути есть поворот. Если много поворотов – много высот и степеней высоты. Они не сравнимы: каждый поворот есть начало и возможность разных направлений, но ни одно не доведено до конца, а прежнее утеряно» [3. С. 766].

Что же происходит в точке поворота? – Если что-то *происходит*, то изменяется высота или степень высоты. Что это значит? – Только одно: при изменении высоты «Я», как манифестатор, получает возможность высказывания. Но получение этой возможности и ее реализация – одно и то же. В том смысле, что возможность является действительной только в том случае, если она реализована, или осуществлена. Реализация возможности высказывания осуществляется в самом высказывании, или самим высказыванием, когда различ-

ное обретает определенное единство. – «Различие слов – небольшая погрешность. Существование различных слов, замена одного слова другим, возможность выбора – вот что небольшая погрешность. Этим объясняется необходимость записывания» [3. С. 770]. Но различное обретает определенное единство лишь на *новой* высоте. Высоты не сравнимы постольку, поскольку ни одна высота не повторяет другую. Пусть между ними присутствует *минимальное* различие (в степени), но оно всегда *присутствует*. Но что здесь имеется в виду? – Только то, что предыдущая высота всегда просматривается и описывается лишь с *настоящей* высоты – «здесь-и-сейчас». Это безусловно *разные* высоты. Но различие между ними маскируется высказыванием, как бы заполняющим тот пробел, или разрыв, который между ними когда-то (как будто) имел место. При этом предыдущая высота, описываемая с настоящей, как бы перебрасывается в будущее. Стрела времени изменяет направление на противоположное. Поэтому у Друскина, как и у Хайдеггера, «временность временится как бывшее настоящим будущее» (Цит. по: [1. С. 379]). Отсюда *настоящая высота* есть ни что иное, как собранный в высказывании взгляд манифестатора на самого себя с той или иной стороны, – со стороны мира, языка или другого как близкого, или ближайшего. Таких сторон – неопределенное множество. Это и есть «соседние миры», проецируемые всегда с той точки, которая как бы не сосчитывается. Она рассредоточена в высказывании, но им же и сосчитывается, но уже на новой высоте, традиционно именуемой интерпретацией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М.: Республика, 1997.
2. Делез Ж. Логика смысла. Фуко М. *Theatrum philosophicum*. М.: «Раритет», Екатеринбург: «Деловая книга», 1998.
3. Друскин Я. С. Разговоры вестников // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 758-811.
4. Друскин Я. С. Это и то // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 811-814.
5. Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда / Пер. с фр. Ф. А. Перовской. СПб.: Академический проект, 1995.

«ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ»: МЕЖДУ КОММЕНТАРИЕМ И ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ

Основной вопрос, возникающий в отношении философского и литературного (философско-литературного или литературно-философского) наследия «чинарей», может быть сформулирован следующим образом: предоставляют (подсказывают) ли сами «чинарные» тексты какой-либо способ их интерпретации? Или в этих текстах присутствует нечто, препятствующее, или даже активно противостоящее, реализации такой – интерпретативной, или дискурсивной – возможности их раскрытия? Этот вопрос обретает актуальность в связи с тем, что сегодняшняя доступность, открытость корпуса текстов этого эзотерического содружества двоих философов (Л. С. Липавский, Я. С. Друскин) и троих поэтов (А. И. Введенский, Д. И. Хармс, Н. М. Олейников) по каким-то причинам не способствует его вовлечению в масштабный, «полновесный» интерпретативный процесс. Концептуальный анализ творческого наследия чинарей постоянно/константно откладывается. Пожалуй, это в равной мере относится и к философии, и к литературоведению. Хотя комментарии множатся, интерпретативные модели почему-то запаздывают. Попробуем понять, с чем это связано, т.е. чем вызвана, или обусловлена, складывающаяся ситуация.

Анализируя, или скорее комментируя, тексты А. Введенского и Д. Хармса, Я. Друскин отмечает: «Стихи Введенского и Хармса не имеют ничего общего ни с «литературой подсознания», ни с сюрреализмом; не было никакой «игры с бессмыслицей». Бессмыслица, или, как писал Введенский в 1931 г., «звезда бессмыслицы», была приемом познания жизни, то есть гносеологически-поэтическим приемом» [8. С. 46]. Но о какой «жизни» здесь идет речь? О «действительной» жизни, проживаемой каждым? Или о «жизни», всегда уже как-то представленной, или предъявленной, в той или иной ее *гносеологически-поэтической* перспективе? Ответ

очевиден, поскольку «звезда бессмыслицы» проливает свет на то, что она тем или иным образом всегда-уже-освещает. Это освещенное является таковым лишь благодаря присутствию точки, излучающей свет в определенной – неподвижно-подвижной – проекции. Это именно *гносеологически-поэтическая* перспектива, раскрывшаяся/раскрывающаяся здесь-и-сейчас. Она раскрывается в месте размежевания *gnosis*'а и *roesis*'а, когда мыслимое и проговариваемое/прописываемое распределяют между собой действие смысла (казалось бы) до полного исчерпания последнего.

«Горит бессмыслицы звезда // она одна без дна, // Вбегает мертвый господин // и молча удаляет время», – режюмирует Введенский в поэме «Кругом возможно Бог». Бессмыслица здесь обозначена, поименована, т.е. названа по имени и тем самым удвоена. В этом удвоении происходит ее касание с тем, что ею нейтрализуется. Поименованная бессмыслица касается смысла на пределе его существования. В этом смысле «бессмыслица» есть предельное имя смысла, которое выражает невыразимое: отказ от того, от чего отказаться невозможно. Жертвуя смыслом, приходится жертвовать тем, с чем он неразрывно связан и во что изначально вписан, – приходится жертвовать словом, или *языком*. Но если язык Введенского и может быть определен как *мертвый* [9], то лишь в том смысле, что он оказывается *пред-*оставлен самому себе. Но *пред-*оставленный самому себе, язык – язык как текст – начинает жить своей собственной жизнью, т.е. обретает «бессмертие», – бессмертие *suī generis* производящей основы. Эта производящая – языковая – основа сохранена в тексте, или сохранена текстом, который отныне уже не нуждается в каком-либо внешнем комментарии или той или иной интерпретации. Неслучайно у Введенского комментарий и интерпретация (или интерпретации) зачастую уже вписаны в сам авторский текст и составляют с ним органическое целое. Возможно поэтому один из самых известных и наиболее часто цитируемых комментариев Введенского из «Некоторого

количества разговоров» одновременно выражает слишком многое и не выражает ничего: «Уважай обстоятельства места. Уважай то что случается. Но ничего не происходит. Уважай бедность языка. Уважай нищие мысли» [1. С. 494].

Иначе, в текстах чинарей – и тексты Введенского демонстрируют это в полной мере – присутствует своего рода эффект *параллаксного видения* (С. Жижек). Это *внутренний* параллакс, поскольку смещенным объектом здесь является смысл, застигнутый в момент его исчезновения, или расщепления. Это *высказавшийся предел*, который интересен и завораживает тем, что за ним, как говорит Л. С. Липавский, «чувствуется неопределенное продолжение, бесконечность». Приведем мысль Липавского целиком: «Так два зеркала, поставленные друг против друга, создают ощущение разнообразной бесконечности. А интересно только то, за чем чувствуется неопределенное продолжение, бесконечность...» [10. С. 89]. Возможно, метафора двух зеркал здесь имеет непосредственное отношение к самому тексту – к его записи/прочтению, или производству. Это обращенный к самому себе текст, пишущий/прочитывающий самого себя. Но нет никакого смысла в том, чтобы писать *действительно бессмысленный* текст. Поэтому, как замечает Друскин, «...бессмыслица – слово, которое не обозначает то, что оно обозначает. В некоторых случаях, а может и всегда, можно еще добавить: и именно не обозначая то, что оно обозначает, или обозначая не то, что оно обозначает, оно обозначает именно то, что оно обозначает» [7. С. 647-648]. – Отношение переворачивается: дело не только в том, что *действительно бессмысленное письмо* противоречит акту творчества – невозможно и обратное, а именно *действительно осмысленное письмо*. – Оно *невозможно* постольку, поскольку абсолютная прозрачность смысла недостижима (и/или непостижима): смысл сохраняет собственное присутствие лишь в силу присущей ему неопределенности, или *нейтральности* (Ж. Делез). Но нейтральность, согласно Делезу, одновременно выражает и *сверх-*

бытийность смысла, событие которого всякий раз предъявляет тождество формы и пустоты [4. С. 184].

«Чистому» событию смысла соответствует лишь один знак – знак ноля. И эта оформленная/оформившаяся пустота безусловно поражает своей бесстрастностью. В «Ответе богов» (1929 г.) Введенский провозглашает: «выньте душу из груди // прибежал конец для чувства // начинается искусство» [2. С. 362]. Следовательно, искусство – искусство как таковое – отныне не основывается на чувстве, но скорее на отказе от него. Тем не менее эта установка на «антиэмоциональность» искусства не является абсолютной – это лишь первая стадия актуализации смысла (творчества), которая с необходимостью должна быть преодолена, или «снята», на более высоком уровне, или на другой *высоте* (термин Я. С. Друскина). «В личной жизни до 1931 года, – пишет Друскин, – Введенский не отказывался от эмоций, от чувства. В то же время и тогда у него уже было некоторое расхождение с жизнью, с бытом. Он никогда, кажется, не имел своего письменного стола. Он сам говорил, что любит жить в гостиницах, то есть не дома. Он не имел дома, он «не имел, где преклонить голову», по существу, он и тогда уже в жизни был путником – *viator*. И все же в интимной жизни он был и нежен, и ревнив, у него было чувство. В стихах же того времени отношение к чувству ироническое: остранение и отстранение. Только после 1931 года, то есть после разрыва с первой женой, у него начинает появляться поэтический интерес к чувству. В «Куприянове и Наташе», написанной, по всей вероятности в 1931 или 1932 году, он прощается с чувством, но это прощание с чувством в жизни было одновременно пробуждением поэтического интереса к чувству, воплощенного в более поздних произведениях: «Очевидец и крыса», «Четыре описания», «Ковер Гортензия...» [7. С. 650-651].

То же самое отношение или переход от «антиэмоциональности» к более высокому уровню творчества, осно-

ванного на чувстве, присутствует и у Хармса. М. Мейлах, ссылаясь на воспоминания Друскина, приводит одну из формул Хармса – «арбуз – дыня – арбуз» (дыня лучше, чем арбуз, но самый лучший арбуз снова лучше дыни), которой Хармс выражал идею о том, что неэмоциональное искусство выше эмоционального, но самое высшее искусство – снова эмоционально, хотя это уже «эмоции» иного порядка [3, Т. 2. С. 22]. Поздние тексты Введенского и Хармса как раз показывают, или передают, это состояние высшей «эмоциональности». Различаются же они тем, что у Введенского эмоциональность оказывается действительно предельно возвышенной и по существу может быть отождествлена с Возвышенным («Элегия», «Где. Когда»), у Хармса – с точностью до наоборот: «эмоции «иного» порядка» опускаются до уровня предельно низкого («Когда я вижу человека...») и даже низменного, вызывающего чувство отвращения («Реабилитация»). Касание (*состоявшееся* касание) этих крайних точек – предельно высокого и предельно низкого – исключает возможность каких-либо дополнений. Безусловно, эти тексты могут быть прокомментированы и как-то проинтерпретированы, но комментарий и интерпретация не способны дополнить их (по сути, или существу, уже сказанного), т.е. открыть в них нечто сокрытое, «зашифрованное» или «неявное». В этом случае тождество формы и пустоты дает о себе знать со стороны формы. – Высказанное в подобной форме не нуждается в «объективации». Сама форма высказывания в этих текстах объективирует то, что содержит, то есть саму себя. Иначе, это то невозможное, что тем не менее состоялось, или реализовалось: реализовавшееся невозможное.

Если обозначить подобные тексты термином «предположительно осмысленное письмо» (калькируя в смысловом отношении известный термин С. Жижека), то их противоположностью будут являться тексты с «потерянной», или рассеянной, смысловой «составляющей» – эти последние, соответственно, могут быть охарактеризованы как «предпо-

ложительно бессмысленное письмо». К такому «предположительно бессмысленному письму» может быть отнесена значительная часть стихотворных текстов Хармса, но также некоторые его прозаические и драматические произведения (например, «История Сдыр Апшр», «Комедия города Петербурга» и др.), хотя сами понятия прозы и драмы (в их традиционной, или классической, дефиниции) применительно к текстам Хармса употребимы крайне условно. У Введенского же – при таком (также достаточно условном, относительном) разделении – почти все тексты окажутся на стороне «письма, предположительно бессмысленного». Друскин акцентирует: «Введенский до самого вынужденного конца не отказался от «звезды бессмыслицы». Она все время углубляется, но ее форма проясняется. Его вещи со временем делаются все глубже и сложнее – именно «звезда бессмыслицы» углубляется, но одновременно проясняется, стиль и характер вещи становится настолько ясным, прозрачным, что абсурд, алогичность, бессмыслицу я чувствую как мое, именно мое алогичное, абсурдное существование, я уже не вижу их алогичности. Наоборот, логичность, как показывает мне Введенский, – это что-то абсолютно чуждое мне, внешнее, сама логичность, сама логика Аристотеля начинает казаться мне величайшим абсурдом... Бессмыслица – абсолютная реальность, это Логос, ставший плотью...» [7. С 646].

Что же представляет собой «Логос, ставший плотью»? Почему его реальность абсолютна? – Возможно потому, что она лишена своего «внутреннего» – сакрального – плана имманенции. Ее «душа» «материализовалась» и – материализовавшись – окаменела. Иначе, «Логос, ставший плотью» – это обездвиженный, «обездушенный» Логос, воплощенный/воплотившийся в *слово-вещь*. Слово, не отделенное от вещи, совпавшее с ней целиком, превращается в полый знак, или абрис вещи, ее начертание. Каждая вещь тем самым являет собою знак, который уже не отсылает к другим знакам, но лишь к самому себе. Он самодостаточен, самооснован и

выражает себя весь целиком. Это письменный знак – *знак-иероглиф*. Его запись замыкает существование вещи по ее абрису. Поэтому любая вещь – ввиду ее самодостаточности – предстает как замкнутый *мир*. Множество вещей, как множество миров, существуют вне всякой связи друг с другом, и эта бессвязность выступает в качестве условия возможности их существования. Это «световодозвуконепроницаемые» миры (термин Ж. Делеза), и они в равной мере могут как содержать (удерживать) в себе нечто, так и не содержать в себе ничего, т.е. быть абсолютно бессодержательными, или пустыми. Эти *неживые миры*, следовательно, лишены не только внутреннего плана имманенции, но и внешнего плана/режима трансценденции: связь между ними отсутствует, они не соприкасаются. Для того, чтобы неживые миры пришли в движение, необходимо задать их существование во времени, – добавить к пространственной перспективе временную. Эти перспективы должны *пересечься*. На их пересечении неживые миры как бы оживают, становятся подвижны и превращаются в бесструктурный – неопределенный – поток некоего вещества, называемого Липавским *протоплазмой*.

Это некий субстрат жизни, самый нижний уровень ее организации, вызывающий неосознанное (неосознаваемое) чувство брезгливости, страха, помутнения, в пределе – ужаса. – «Живая плазма не случайно вызывает брезгливость. Жизнь всегда в самой основе есть вязкость и муть. Живым веществом является то, о котором нельзя сказать, одно ли это существо или несколько. Сейчас в плазме как будто один узел, а сейчас уже два. Она колеблется между определенностью и неопределенностью, между индивидуальностью и индивидуализацией. В этом ее суть. На высших ступенях органической жизни это может заслоняться, но оно никогда не исчезает. Из этого следует, во-первых, что во всяком живом существе скрыто нечто омерзительное и, во-вторых, что великое множество живых существ явно омерзительно, возбуждает беспричинный страх. Что касается первого, то помимо всего

перечисленного, отвратительны и страшны вообще все внутренности: мозг, кишки, легкие, сердце, даже живое мясо, все вообще соки тела. Что касается второго, то противны на прикосновение все несложные организмы, особенно бесскелетные, как, например, морские. Особенно резко это заметно на паразитах, которые испытали вторичное и, таким образом, чрезмерное упрощение. Клопы и глисты отвратительны своей консистенцией, тем, что они почти жидкие. С консистенцией может быть связан и характерный цвет, также вызывающий страх: мутно-прозрачный, часто бело-желтый. Такой цвет имеют, например, бельевые вши. Это цвет эмульсии» [10. С. 84].

Концепт протоплазмы, таким образом, охватывает все уровни организации жизни. Он всеобъемлющ в том смысле, что задает границы существования всех живых существ изнутри их биологического естества. Причем это «изнутри» характеризует саму протоплазму двояко. По отношению к живому и неживому (в их определенности) она сама не совпадает ни с первым, ни со вторым. – Она целиком располагается – колеблется – *между* ними. Но, с другой стороны, это «между» маркирует сам переход от жизни к смерти и (что вызывает наибольший страх) от смерти к жизни. – «Разительным, хотя и искусственным примером страха, вызываемого безындивидуальной жизнью, является впечатление от опытов по переживанию изолированных органов: палец, растущий в физиологическом растворе, голова собаки, скалящая зубы, и т.п. Поэтому же так неприятны мысли о том, что у мертвеца еще растут ногти, продолжается жизнь отдельных клеток. Вообще страх перед мертвецом – это страх перед тем, что он, может быть, все еще жив. Что же здесь плохого, что он жив? Он жив не по-нашему, темной жизнью, бродящей еще в его теле, и еще другой жизнью – гниением. И страшно, что эти силы подымут его, он встанет и шагнет как одержимый. Этим же страшны сомнамбулы, лунатики, идиоты и т.д.» [10. С. 85-86]. Протоплазма тем не менее не затрагивает

тот уровень существования, который превышает жизнь в ее биологической проявленности. Она не выражает собственно человеческое начало, т.е. не определяет существование *мыслящих* существ. В терминологии чинарей – *вестников*.

Но наряду с *мышлением* (gnosis) вестники обладают также *автономией языка* (poesis). Поэтому вестники – это те существа, которые в полной мере могут быть названы *живыми вещами*, хотя их вещьность, безусловно, символична. Соседние миры вестников – это сопредельные, пограничные миры. – Они освещены светом «звезды бессмыслицы», и ее бездонность дает о себе знать в каждом из этих миров, несмотря на то, что способы их организации различны. «Звезда бессмыслицы» высвечивает *щели* и *границы* (термины Друскина) между ними, поэтому «вестники знают порядки других миров и различные способы существования» [5. С. 773]. Это языковые миры и в то же время миры мыслимые и/или воображаемые. Язык вестников получает автономию в точке разрыва, или разъятия, внутриязыковых причинно-следственных связей и правил, которые предопределяют «естественное», или «самоочевидное», восприятие/видение мира. Но едва «подернутые» смыслообразующие связи и правила тут же изменяют мир до неузнаваемости: миру действительному («вещь-как-слово») приходит конец – он буквально *сдыхает*. Один из текстов Друскина так и озаглавлен – «Сдох мир»: «Соедини две точки в прошлом – не одну протяженную в бесконечность, но возьми две точки различные, разделенные. И одна будет прошлым настоящим, другая же прошлым будущим, между ними же оставь пропасть, как оно и есть в действительности. И пока будет только одна – прошлое настоящее – будешь спокоен и будешь радоваться, и другая – прошлое будущее – будет неизвестным и будет хорошо. Когда же перейдешь на вторую и станешь на второй и вторая станет как следствие, а первая как причина, а между ними пропасть, а над пропастью – нитка: причина и следствие – сдохнет мир» [6. С. 697-698].

Нить рвется, и «действительный» мир проваливается в пропасть. Его «действительность» становится недействительной, «понятность» оборачивается непониманием. Но не существует действительной пропасти, в которую бы проваливался казавшийся действительным мир. Эта «пропасть» сужается до точки разрыва причинно-следственной нити. – Нити языка, разорванной в его смыслообразующей точке. Производство смысла прекращается, и язык на мгновение *замирает, цепенеет*. Но именно в этот момент он обретает собственную автономию, обнажая механизмы производства смысла, т.е. распознавая их в этом качестве: когда/тогда, поскольку/постольку, если/то и т.п. Линейная последовательность тех или иных событий, действий, состояний уступает место их расхождению, разбросу, перестыковке и т.д., – возникает множество различных фрагментарных констелляций (или, в терминологии Делеза, *складок*), всякий раз заново перекраивающих языковой континуум. Это место встречи языка (poesis) и мышления (gnosis), где они *касаются* друг друга, и это касание мгновенно рождает *новое, иное* (еще не бывшее, не имевшее *места*) отношение между ними. Иначе, в текстах чинарей само это (co)отношение постоянно переопределяется, пересматривается и/или переобозначается. Подлинная авто-номия языка, таким образом, реализуется в узловых точках его расстыковки с самим собой, – на грани утраты возможности говорения и понимания. Экспликация этих точек *возможна*, но требует нахождения нового метода, способного к переосмыслению и преодолению традиционных – классических – способов/рамок комментария и интерпретации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Введенский А. И. Некоторое количество разговоров // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 494-511.
2. Введенский А. И. Ответ богов // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 360-364.
3. Введенский А. И. Полное собрание произведений: В 2 Т. М.: Гилея, 1993.
4. Делез Ж. Логика смысла. Фуко М. *Theatrum philosophicum*. М.: «Раритет», Екатеринбург: «Деловая книга», 1998.
5. Друскин Я. С. Разговоры вестников // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 758-811.
6. Друскин Я. С. Сдох мир // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 696-700.
7. Друскин Я. С. Стадии понимания // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 642-651.
8. Друскин Я. С. Чинари // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в тек-

стах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 46-64.

9. Кулик И. Мертвый язык Александра Введенского. – Режим доступа: <http://poetrylibrary.ru/stixiya/856.html>
10. Липавский Л. С. Исследование ужаса // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 76-92.

ГЕРМЕНЕВТИКА КОНЦЕПТА «ТЕОРИИ СЛОВ» Л.С. ЛИПАВСКОГО

Конструирование языковой реальности
в онто-лингвистике Л.С. Липавского:
от состава слов к теории значений

...нигде факты не подтасовываются с такой легкостью, как при исследовании слов. Недаром существовавшие во все времена фантасты и доморощенные философы влеклись к этому занятию.

Современное языковедение недаром зовется сравнительным: оно изучает факты одного языка, сравнивая их с фактами других языков.

...языковеды... склонны... видеть всюду заимствование. Кажется, что ими движет при рассмотрении любого языка стремление доказать, что все его слова произошли из слов другого языка.

Л.С. Липавский «Теория слов» <1935>

Реальность мысли проявляется в языке. Только идеалисты могут говорить о мышлении, не связанном с «природной материей» языка, о мышлении без языка.

И.В. Сталин. К некоторым вопросам языкознания
<Правда. 4 июля 1950 г.>

В отношении «Теории слов» Л.С. Липавского возникает множество вопросов и ключевым среди них, пожалуй, является вопрос о научности, или степени научности, этого текста. Имеет ли этот «чинарный» текст какое-то отношение к лингвистике или принципы его построения не принадлежат лингвистической традиции? В какой мере этот трактат может быть охарактеризован как философский, филофско-

герменевтический и какое место он занимает внутри философской системы самого А.С. Липавского? Для того, чтобы попытаться прояснить сами принципы построения интересующего нас текста, обратимся к его структуре, т.е. к тому, как этот текст выстроен, или организован в смысловом, или содержательном, отношении. «Теория слов» может быть разделена на две части: собственно теоретическую и иллюстрирующую ее часть «практическую», или «эмпирическую» («Список Р»). Но это различие условно, поскольку текст трактата поделен на шесть частей, и «Список Р» – это его предпоследняя часть, которая переходит в «Заметки о словах», а именно тот последний «отдел», который, как замечает сам Липавский, уже «не нуждается ни в системе, ни в законченности; его можно продолжать сколь угодно, пока есть время и желание» [8. С. 313].

В первой части текста («Состав слов») вычленяется исходная, или отправная, алфавитная структура, предъявляемая древней письменностью: акцентируется приоритет согласных над гласными. – Когда-то в строку записывались только согласные, гласные же либо пропускались, либо обозначались над или под строчкой. Поэтому согласные именуются Липавским «теми семенами, из которых выросли первые слова языка» [8. С. 254]. По числу согласных определяется и число первых исходных слов. Согласные – это своего рода первоэлементы, некая твердая основа, предопределившая возможность существования языка. «Исконные» согласные, по мысли Липавского, были разнообразнее ныне существующих. Поэтому структура начинает усложняться: выделяются шесть видов исконных согласных.

Помимо ныне существующего типа согласных (например, П, Т), (ре)конструируются еще два, «которые мы бы выразили теперь через сочетание согласной с Р (например, ПР, ТР), и еще такие, которые мы выразили бы через сочетание согласной с Л (например, ПЛ, ТЛ). Для нашего слуха это составные звуки; тогда они ощущались простыми. Так теперь

звук ДЖ ощущается итальянцами как простой, русскими – как составной» [8. С. 255]. Вариативность каждого из трех типов согласных зависела от присоединения той или другой гласной. Но если древние согласные были разнообразнее ныне существующих, то в отношении гласных наоборот – вариаций было всего две: «Наверное, было два способа произношения согласных, два оттенка их: широкое и узкое произношение; в русском языке этим двум произношениям соответствовало присоединение к согласной Ъ или Е» [Там же]. Отсюда шесть видов исконных согласных. – «Можно сравнить язык с таким роялем, в котором около двадцати клавиш – согласных; три регистра; да еще две педали – гласные» [Там же].

Но семена слов сами по себе еще лишены смысла. Они означают лишь некое «усилие, выраженное голосом». Звук начинает отбрасывать «смысловую тень» лишь благодаря присутствию того, что Липавским именуется «знаком нарочитости». Одно из семян слов должно было явиться «смыслоутверждающей частицей, как бы всеобщей печатью языка». Последняя «прикладывается ко всем остальным семенам слов и, становясь вторым их слогом, свидетельствует об их зачислении в настоящие слова» [1. С. 255]. Для русского языка такой частицей явилось ТИ, «видоизмененное ТЕ, к нашему времени сократившееся в ТЬ» [8. С. 256]. С присоединением ТИ звуку придается смысл и он включается в «круговорот языка». ТИ – это как бы та «печать смысла», которая позволяет выстроить «таблицу исходных слов», начиная с БЫТИ. Это слова «первого поколения». Для того, чтобы составить такую таблицу, необходимо «выписать все исконные согласные, варьированные по гласным, с присоединением к ним ТИ» [Там же]. Липавский называет все слова, произошедшие от одного и того же «исконного» слова, словами одного «рода». Количество родов, соответственно, определяется по количеству «теоретически возможных исконных слов», коих 120. – «Но так как не все эти слова произносимы в дей-

ствительности и не все из них использованы в языке, то родов будет меньше: примерно сто» [Там же].

«Родовой элемент» неуничтожим и сохраняется во всех словах своего рода, он есть «наследственный признак», передаваемый словами одного рода друг другу. «Обнажая» родовой элемент слова «предпочтение», Липавский выделяет в качестве такового ЧТ. «Предпочтение» возникает в конце словесного ряда, но зная конец последовательности, мы можем восстановить ее начало. По логике концепта («Теории слов»), исходным словом в данном случае могло быть одно из двух – ЧЫТИ либо ЧЕТИ. Поскольку в древнерусском словаре присутствует слово ЧЕСТИ, а следующее за ним в этом ряду ЧИТАТИ не имеет формы совершенного вида, такой утраченной ныне формой и будет ЧЕСТИ (формы совершенного вида, как правило, опережают формы несовершенного вида). ЧЕСТИ же могло произойти только от ЧЕТИ. А «Е» здесь уступило свое место «И» точно так же, как, например, в БЛЕСТЕТИ/БЛИСТАТИ. Таким образом, (ре)конструированный словесный ряд предстает перед нами в следующей последовательности: ЧЕТИ – ЧЕСТИ – ЧИТАТИ – ПОЧИТАТИ – ПРЕДПОЧИТАТИ – ПРЕДПОЧТЕНИЕ. Настаивая на правиле *начальной согласной* (слов, начинающихся с гласной, в русском языке значительно меньше), Липавский замечает: «Формообразование слов имеет такие же точные законы, как формообразование кристаллов» [8. С. 258]. Слова, начинающиеся с гласной, возникают в результате внешней – *речевой* – деформации; их появление никак не следует из внутренних законов, или принципов, развития языка. Окатанные речью, эти слова, или – в терминологии Липавского – «обманчивые случаи», напоминают округлые камни, выброшенные морем: их окатали волны, и они навсегда утратили свое характерное – когда-то присущее им – очертание.

Письмо, следовательно, оказывается более рефлексивным способом бытия языка по сравнению с речью. На

письме – в процессе письма – как бы выпадает настоящее: письмо, как *результат*, всегда устремлено к будущему, но как *процесс* оно неизбежно обращено к прошлому, или в прошлое. В этом отношении Липавский одновременно близок и к де-конструктивизму Ж. Деррида («письмо-результат»), и к философской герменевтике (деструкции) М. Хайдеггера («письмо-процесс»). Несмотря на то, что, согласно М. Хайдеггеру, экзистенциально-онтологическим фундаментом языка является речь, это речевое «превосходство» в текстах самого Хайдеггера дает о себе знать прежде всего посредством письма: в его работе со словом (уже начиная с «Бытия и времени») оно – это *условное* превосходство – буквально *прописывается*, т.е. предъясвляет себя в способе *записи*. Поэтому язык – и у Деррида, и у Хайдеггера – выступает как *отношение* между речью и письмом (разомкнутое с той или иной его стороны). Утрата или отказ от письма (сведение возможности высказывания лишь к устной его форме), по Липавскому, ставят под угрозу существование языка (в его исторической ретроспективе): «Что значит, по сути, процесс окатывания слов? Это значит: люди, произносящие слова, не чувствуют уже законов развития слов, их происхождения и родственных отношений и произносят просто так, как им всего легче, удобнее. Таков, наверное, будет раньше или позже конец любого языка; но, когда это произойдет, будет окончательно потеряна возможность восстановления истории его слов; будут сплошь обманчивые случаи» [8. С. 258-259].

Анализируя принцип словообразования, Липавский выделяет два основных способа возникновения новых слов: *вращение* и *кристаллизацию*. Под простым, или «чистым», вращением имеется в виду присоединение к основе, или «семян» слова, нового слога ТИ (РАСТИ/РАСТИТИ). Но значительно чаще под влиянием ТИ сама основа начинает видоизменяться (БОРОТИ/БОРОНИТИ). При этом количество слогов может не только увеличиваться, но и сокращаться «за

счет сгущения согласных или усложнения гласной; слово как бы стягивается» [8. С. 259]. Растяжение и стягивание, таким образом, могут быть определены как два состояния пульсирующей основы слова. Иначе, вращение есть *смысловая* пульсация основы: изменяется (усложняется) звуковой состав слова – изменяется и его значение. – «Вращение является основным способом словообразования; но не наиболее частым; чаще, чем вращение, хотя имеющее меньшее принципиальное значение, встречается такое словообразование, при котором слово собственно не приобретает нового значения, а только конкретизирует свое старое значение; этот способ словообразования можно назвать кристаллизацией» [Там же]. Связь между двумя способами словообразования обусловлена самим характером вращения: оно может полным, т.е. целым оборотом, или полуоборотом. Целый оборот – это как бы та единица, которая делится надвое в том случае, если внутри целого происходит промежуточная кристаллизация (РЫТИ-РУБ-РУБИТИ). Но подряд могут следовать и несколько полуоборотов, и наоборот: словесный ряд может быть представлен только целыми оборотами. Топологически место слова в языке определяется его родом, рядом в роду и поколением.

Вводя понятие *весового соотношения*, Липавский пытается понять общий принцип, лежащий в основе изменения звукового состава слова при вращении. Согласно *принципу близости* звуковой состав слова стремится к наименьшему изменению. Это связано с тем, что каждое слово имеет свою «энергию произношения», усилие, с которым оно произносится, выражается в его весовом «составе», или «комплексе». Это та субъективность, которая присуща языку в целом и не поддается какому-либо объективному измерению. Поэтому «способа измерения весового соотношения слов не имеется; но оно чувствуется на слух при некотором опыте» [8. С. 261]. Пути, избираемые самим языком при выборе варианта сохранения весового соотношения, и определяют как общий

характер языка, так и его звуковой состав. Возвращаясь к понятию *исходных слов*, Липавский говорит о *симметрии*, которая – казалось бы, поскольку законы словообразования одинаковы – должна была бы быть присуща всем словам одного и того же поколения. Но несмотря на то, что и исходные слова, и законы словообразования во всех рядах параллельны, точного параллелизма в родах и рядах нет. Причиной тому – необходимость соблюдения (самим же языком) законов звуковой близости и весового соотношения. – «Законы словообразования очень просты; но они дают огромный простор для словообразования, огромный выбор возможных форм; в каждом роду используются только те формы, которые в этом звуковом составе всего более соответствуют принципам близости и весового соотношения. Поэтому уже в словах первого поколения параллелизм нарушается очень резко, а в дальнейшем ряды все больше расходятся» [8. С. 261-262].

Тот же принцип симметрии действителен и в отношении *истории значений* (так озаглавлена вторая часть трактата). Все исходные слова были «симметричны по смыслу», «обладали одними и теми же возможными значениями» [8. С. 262]. Смысловая симметрия сегодня уже неразличима потому, что «при вращении для каждого слова открыт огромный простор возможных значений, так что заложенный первоначально параллелизм очень скоро нарушается и чем дальше, тем расхождение значений становится больше» [Там же]. Тем не менее изначальный параллелизм значений присутствовал, иначе каждый род специализировался бы на некоем особом (характерном лишь для него) смысловом спектре. – «На деле этого нет; в каждом роде мы находим приблизительно тот же ассортимент значений. Если, например, род Г имеет среди своих слов ГОРЕ, то род П имеет ПЕЧАЛЬ, род Т – ТОСКА, К – КРУЧИНА, Б – БОЛЬ. И тот же род Б имеет БЛАЖЕНСТВО, тот же род П – ПРИЯТНОЕ, Р – РАДОСТЬ, В – ВЕСЕЛЬЕ, Д – ДОВОЛЬСТВО и т.д.» [Там же]. Но что значили исходные слова как таковые? Могли ли (из-

начально) бессмысленные звуки вдруг получить какое-то значение? И как из исходных значений развилось все их современное смысловое (не поддающееся охвату) разнообразие? Отвечая на эти вопросы, Липавский делает одно принципиальное замечание. Хотя первоначальное осмысление было связано с присоединением к первому слогу (семени слова) ТИ, «...нелепо думать, что присоединение какой-либо частицы могло бы вдруг придать слову смысл. Наоборот, потому-то и присоединялось ТИ, чтобы показать, что это уже осмысленный звук. ТИ не придавало смысла, а раскрывало тот смысл, который уже таился в виде возможности в физиологическом звуке» [8. С. 263].

Звук, издаваемый голосом, есть дыхание, а именно – выдох, преодолевающий сопротивление. В этом отношении язык есть собственно *подача голоса* (из-речение). Первая особенность выдоха состоит в *разряжении, выравнивании, расслаблении, растяжении* (если вдох требует некоторого напряжения, то выдох тождествен естественному возвращению в первоначальное состояние); вторая – в освобождении от среды, наполняющей легкие, от воздушной смеси. Поэтому выдох (выдыхание) допускает, как минимум, двоякое истолкование. С одной стороны (первая особенность), это просто некое «растекание, распространение и угасание прежде бывшего усилия, эманация его», или энтропия; с другой (вторая особенность) – выдыхание сравнимо с охватыванием, овладением внешней средой. – «Выдыхающий как бы охватывает зыбкий шар, сжимает его постепенно, как будто ассимилируя или поглощая его» [8. С. 264]. И далее Липавский приводит сравнение, имеющее, возможно, определяющее значение для понимания общего замысла концепта «Теории слов». – «С пружинящим баллоном, заключающим в себе зыбкий шар, или, с таким же правом, с зыбким шаром, окруженным пружинящим баллоном, можно сравнить человека» [Там же]. Наконец, есть и третья сторона (которая в смысловом отношении должна быть определена как *первая*) – преодоление

сопротивления, непосредственно связанное с произнесением согласных. Такое «подавление» звука (согласными) Липавский именует *толчком, током, стремлением, испусканием, порождением, пробиванием*.

Таким образом, голос последовательно «раскрывается перед нами в трех рядах признаков: 1) растекание, распространение, угасание, разряжение, выравнивание, растяжение; 2) охватывание, овладение, сжатие, поглощение; 3) стремление, испускание, порождение, толчок, ток, удар» [8. С. 265]. Эти ряды определяют существо голоса, но также и суть всякого воздействия человека на мир, суть всякой деятельности. Семя слова *само по себе* ничего не значит, вернее, уточняет Липавский, «оно значит то, что оно и есть». – «Теперь мы узнали, что оно есть. Оно есть как бы полномочный представитель всей возможной деятельности. Голос есть как бы модель мира» [Там же]. Добавим: голос есть *онтологическая модель мира*. И это в полной мере подтверждается дальнейшим ходом рассуждений в тексте трактата. В своем развитии значения совершают два последовательных перевоплощения. Но перевоплощаться приходится и самому миру, поскольку мир различен для разных – тем или иным способом – (раз)познающих его существ. Очевидно, что миры бабочки, рыбы, младенца, дикаря и современного человека не совпадают. Липавский сравнивает мир с рисунком, в котором четко прочерчены лишь немногие линии (это различные среды и принадлежащие им существа/индивидуальности), некоторые намечены пунктиром («данные, обусловленные строением тела, его органами чувств»), остальные же еще более неопределенны – они как бы разветвления пунктиров: «это намечаемое деятельностью и отстаивающееся в словах расчленение и соотнесение имеющихся данных, дальнейшее конструирование или интерпретация мира» [8. С. 266].

Конструирование мира проходит через две стадии перевоплощения значений. На первой стадии мир – в его стремлении быть понятым «наподобие и по образу дыхания»

– расчлняется (языком) на «зыбкие беспредметные среды», или стихии. Но воздушная смесь слишком *покорна, бесформенна*. Поэтому для «твердого» человеческого тела «зыбкой средой будет не газ, а жидкость». Эта стадия определяется Липавским как *проекция на жидкость*; слова здесь отмечают *густоту, вязкость, растекание, бурное или спокойное течение, обволакивание и захватывание потоком, выпрыскивание* и т.п. Сущностные характеристики первой проекции – *беспредметность* и *бес-субъектность*. – «Очень важно понять, что при проекции на жидкость не существует ни разделения на предметы и действия (частей речи), ни отнесения к субъекту или объекту (залоги), ни, наконец, числа» [8. С. 266]. Остатки «стихийного мировоззрения» дают о себе знать и поныне. Например, запах не воспринимается ни как предмет (он бесформен, не допускает прикосновения), ни как действие (он не есть отношение взаимодействующих предметов); запах есть нечто существующее: «...и мы можем сказать, войдя в комнату, просто – «пахнет», не относя это ни к какому предмету» [8. С. 267]. В этом же ряду – жар, холод, некоторые метеорологические явления и психологические состояния. Они существуют сами по себе, распространяются (струятся, излучаются и т.д.), имеют интенсивность (густоту, крепость, насыщенность), могут поглощать друг друга. К остаткам «стихийных» слов также относятся *субстратные названия*, прилагаемые либо к веществу предметов, либо к их собранию: хлеб, просо, земля, трава, лес и т.п. Не утратили «стихийности» (и более того – ничего не приобрели по сравнению с остальными словами) *безличные выражения* («дует», «темнеет», «лодку относит к берегу»). *Неопределенное наклонение*, не имеющее ни времени, ни лица, – это также «остаток той стадии, когда слова означали стихии, т.е. процессы, рассматривавшиеся как нечто существующее самостоятельно, субстрат-процесс» [8. С. 268].

Вторую стадию перевоплощения значений Липавский определяет как *проекцию на мускульное усилие*. Переход к ней был обусловлен как внутренними, так и внешними при-

чинами. Во-первых, начавшееся (внутри значений) расчленение на причину и результат действия вводило в язык субъектность и объектность (основной внутренний фактор); во-вторых, деятельность человека проявлялась в создании/производстве вещей, т.е. «превращении мира сред в мир вещей» (первостепенное внешнее обстоятельство). – «Основным отношением между причиной и результатом действия стало мускульное усилие. Проекция на жидкость сменилась проекцией на деформирование и передвижение» [8. С. 269]. Наконец, эта проекция постепенно сменяется той, в которой предметы и действия уже окончательно отделяются от мускульных усилий и становятся самостоятельными. На этой стадии новые значений возникают уже не по строго определенным принципам, а по разнообразным *ассоциативным* связям, существующим между теми или иными предметами и действиями. – «Дыхание – проекция на жидкость – проекция на мускульное усилие – проекция на вещи, действия и свойства; такова история значений» [8. С. 270]. Начало этой истории восходит к трем рядам признаков голоса: «...эти три пучка значений имеют свои центры, из которых они расходятся. Достаточно знать эти центральные значения, чтобы по ним восстановить весь круг исходных значений, как по трем точкам в геометрии можно восстановить окружность или по тем углам треугольник» [Там же]. Треугольник исходных значений, составляющий основу всего языка, образуют (значения) ТЯНУТЬ(СЯ), СТРЕМИТЬ(СЯ), ХВАТАТЬ(СЯ). – «Именно эти значения проходят главными линиями и через проекцию на жидкость, и через проекцию на мускульное усилие; именно они, варьируясь, дают основной ассортимент значений слов» [Там же].

Следовательно, общая площадь исходных значений априори безгранична, бескрайна. Но – ввиду контекстуальности – она никогда не используется целиком, а всякий раз лишь частично. Отсекая несколько частей общей площади, наиболее часто используемых в том или ином контексте,

слово становится пучком сразу нескольких значений. – «При вращении слова этот пучок разрывается, происходит расщепление общего значения на несколько частных и новые слова отбирают от старого часть его площади» [8. С. 271]. Поэтому с каждым новым поколением площадь значения слов уменьшается, сужается. Что позволяет сделать следующие выводы. – «Первый: площадь всех слов вместе в языке всегда одинакова, на какой бы стадии мы ни взяли язык; разница только в степени дифференциации, специализации слов. Второй: как в звуковом составе слова хранится его древнейший звуковой состав, его семя, так и в площади значения его хранится кусочек древнейшей площади, исходного значения» [Там же].

Рассмотрение первых двух частей трактата разрешает/снимает вопрос о его двойкой со-принадлежности полям лингвистики и философии. Концепт «Теории слов» как бы заново прочерчивает границу между лингвистической традицией (Липавский обращается к трудам И.И. Срезневского) и онтологическим подходом к языку в перспективе его целостного существования и/или постадийного развития (См.: [13]). В «Теории слов» язык выступает в качестве некоего фундаментального отношения, устанавливающего связь между миром и человеком в их историческом со-присутствии и взаимной сопричастности друг другу. Это отношение всегда уже имеет место и событийно раскрывается в смене возможных перспектив собственной актуализации. Иначе, если «Теория слов» и может быть определена как «виталистическая» (в примечаниях к тексту трактата В.Н. Сажин дает ей такое определение), то лишь в том строгом смысле, что она прочитывает жизнь языка в смене/черере его собственных онто-лингвистических смыслообразующих состояний.

От вероятности значений к аналитике традиционных лингвистических моделей

Третья часть «Теории слов» имеет заглавие: «Вероятность значений». Здесь Липавский обращается к тем «причинам» языка, которые – на первый взгляд – могут показаться случайными и даже противоречащими принципам языкового основоустройства. Это *омонимы, идиомы, синонимы* и *архаизмы*, нарушающие традиционные лингвистические положения об «экономности», «стройности» и «разумности» языка. В тезисе Липавского утверждается обратное: «Язык... как природное явление, воплощает принцип избытка, а не принцип экономии» [8. С. 273]. Под «природным явлением» имеется в виду не генезис языка (т.е. не оноματοпоэтическая теория), но скорее спинозистский постулат тождества *природы творящей* (*natura naturans*) и *природы сотворенной* (*natura naturata*). Иначе, язык *самоосновен*, и его самоосновность избыточна по своей природе.

В отношении феномена омонимии принцип избыточности (или самоосновности) будет означать следующее. Омоним – это не слово с несколькими *никак не связанными* друг с другом значениями; но омонимы также и не разные слова, каким-то образом *случайно* совпавшие по своему звуковому составу. Онтически – это слова одного рода, они имеют общую площадь значений, которая формально закреплена в их звуковом составе, или комплексе. Если – согласно утверждаемому Липавским *принципу близости* – звуковой состав слова стремится к наименьшему изменению, то омонимы реализуют этот принцип *par excellence*. Онтологический же аспект омонимии связан с контекстуальностью: «разные контексты придают слову разные, суженные, значения» [8. С. 274]. Во внутриязыковом пространстве такое слово оказывается точкой пересечения нескольких линий, или контекстуальных проекций, смысловое единство, или начало которых рекон-

струируется при обращении к треугольнику исходных значений: *тянуть(ся)*, *стремить(ся)*, *хватать(ся)*.

Идиомы («идиоматические обороты»), или фразеологизмы, рассматриваются Липавским как частный случай омонимии. Их присутствие в языке неслучайно: они необходимы для проявления особых – индивидуальных – черт языка, сохранившихся на его теле/поверхности в виде странных *наростов*, своего рода архаических *складок* (термин Ж. Делеза), непередаваемых на другие языки. – «Отличие идиом от обычных омонимов в диспропорциональности значений; оба (или больше) значения омонима имеют обычно почти одинаковую площадь, оба употребляются приблизительно одинаково часто в различных контекстах; при идиоматичности же одно значение имеет широкую площадь и употребляется часто, а другое имеет очень узкое значение, употребляется только в одном каком-нибудь выражении; это второе, идиоматическое, значение является последним, уцелевшим только в этом выражении, остатком когда-то более широкого употребления слова в этом смысле» [8. С. 275]. Апостериори к идиоматическому обороту применима формула, используемая Ж. Делезом и Ф. Гваттари для определения существа ризомы ($n-1$), но с противоположным знаком: $n+1$, где n принадлежит общая площадь значений, а $+1$ служит обозначением затвердевшего *нароста* на обычном значении слова, – реликтовой складки, вызванной и/или определенной к существованию «необъяснимой игрой языка». – «Идиоматическое выражение – это как бы заповедник, в котором хранится последний экземпляр, реликт вымершего значения» [Там же].

Анализируя идиоматические языковые конструкции, Липавский (как бы невзначай, попутно) делает существенное – *принципиальное* для концепта «Теории слов» – замечание в отношении лингвистического и/или семиотического понятия метафоры, первоначально кажущееся парадоксальным. Язык, по мысли философа, не производит метафор, его избыточность не «метафорична» в своей основе: «метафор в языке

вообще не бывает» [8. С. 276]. Их отсутствие в языке на первой стадии его со-существования, или, вернее, со-осуществления с миром, объясняется тем, что слова тогда означали некие «зыбкие беспредметные среды», или стихии, т.е. автономные субстрат-процессы. Иначе, слово здесь не отделено от действия, как точка от деятельности. Это та текучесть и/или непрерывная изменчивость мира, которой в языке – на первой стадии перевоплощения значений – соответствует *проекция на жидкость*. – «Мы должны выставить следующее положение: категория предметности – фиктивна, в мире имеются только процессы» [6. С. 103]. – Предметы и действия (частей речи) в этой проекции как бы совмещены, совпадают в целостно-избыточном языковом/речевом потоке, внутри которого еще только намечаются некие различия в направленности и степенях интенсивности совмещенных в этом общем движении автономных субстрат-процессов. Их автономия условна и безусловна одновременно, поскольку это слова-отметки *густоты*, *вязкости*, *растекания*, бурного или спокойного *течения*, *обволакивания* и *захватывания потоком*, *выпрыскивания* и т.п. Она *условна* ввиду беспредметности и бес-субъектности того «стихийного мировоззрения», когда язык и мир со-осуществляются в совместности и сопринадлежности друг другу без какого-либо разделения. Она *безусловна*, так как слова уже присутствуют, произносятся и различаются в речевом – всегда уже осмысленном – высказывании.

На второй стадии перевоплощения значений взаимоотношения между языком и миром начинают усложняться. Во внутриязыковой деятельности выделяется («кристаллизуется») собственно *действие* с его неотъемлемыми – сущностными – атрибутами: однократностью и возможностью повтора. Соответственно, ограничения действию (по «краям») задают его причина и результат: «начало» как причина и «конец» как результат. Через (смысловое) взаимодействие слов в язык вводится – проникает средствами самого языка – субъ-

ектность и объектность. Проекция на жидкость преобразуется в проекцию на мускульное усилие. – «Тянуть» стало значить уже не «обволакивать и уносить с собой», а «тащить за собой»; «стремить» – уже не «течь, гнать в своем потоке», а «толкать, ударять»; «хватать» – уже не «густеть, затвердевать („цемент схвачен’»), пропитывать, поглощать», а «схватывать рукой или ртом», «держатъ», «рвать», «кусать», «ломать»» [8. С. 269-270]. Под воздействием языка *мир сред* превращается в *мир вещей*. Мускульное усилие имплицитно как *отношение* между причиной и результатом действия в проекции на деформирование и передвижение. Само (инициируемое языком) действие в этой проекции оказывается производящим отношением – оно производит и воспроизводит себя в деятельности «по производству» вещей. Человек начинает называть изготавливаемые/производимые им вещи «своими» именами. На стороне языка действие воплощается в значении слова (слова обретают собственную *значимость*, сами по себе начинают что-то *значить*), на стороне мира – в произведении (поименованной) вещи, отмечающей человеческое присутствие в мире. Язык и мир на этой стадии их со-осуществления становятся имплицитными, т.е. различаясь *в отношении* друг к другу, они сплетаются, скручиваются, прорастают друг в друге, но еще не разделяются, не отделяются друг от друга до состояния разрыва. Это стадия взаимопроникновения: в язык проникают создаваемые и/или называемые человеком «вещи», а в мир – их имена и проецируемые языком причинно-следственные и пространственно-временные связи между ними (если/то, когда/тогда, где/там).

Наконец, «эта стадия истории значений постепенно перешла в новую, когда предметы и действия уже отделились от мускульных усилий, связанных с ними прежде, стали самостоятельными. Только тогда новые значения получили возможность возникать не по строго определенным принципам, а по разнообразным связям, существующим на практике между разными предметами и разными действиями, – по

ассоциациям» [8. С. 270]. Таким образом, современная стадия истории значений представляет собой ассоциативную проекцию на вещи, действия и свойства. Язык, который мы «знаем», всегда уже предъ-является нам и употребляется/высказывается нами (и/или посредством *нас*) в *этой* проекции, в то время как предыдущие стадии его со-осуществления с миром могут быть лишь неким образом – онто-лингвистически – ре-конструированы, т.е. эксплицированы дискурсивно. Но ассоциативность показывает, что язык и мир на этой современной нам – предопределенной во временной перспективе – стадии уже не сопричастны друг другу: их парадоксально «связывает» лишь одно отсутствующее-присутствующее отношение – состояние (непреодолимого) разрыва. Оно пролонгируется на протяжении всей истории развития (по крайней мере, европейского) языкознания и по сути обуславливает/инициирует само его возникновение (языкознания как науки). Причем реальность разрыва между языком и миром, (невозможная) реальность разделяющей их дистанции целиком переносится внутрь языка, поскольку язык, несмотря на его материальность, не совпадает ни с одной вещью мира, не может быть помещен в ряд вещей (среди прочих), и ни одна вещь мира (вещь-как-таковая, или «вещь-в-себе») не имеет отношения к языковой реальности до ее (как «вещи») обозначения в слове. Взятая (спроецированная) со стороны языка, эта дистанция оказывается *нулевой*, заданная со стороны мира – *бесконечной*. Поэтому вопрос «Чего больше: имен или вещей?» мог возникнуть лишь в перспективе их изолированной разомкнутости, т.е. такого «со-существования, которое не предполагает какого-либо способа со-осуществления языка и мира, укорененного в отношении между ними (См.: [19. С. 149]).

В структурной лингвистике Ф. де Соссюра понятие *ассоциативной связи* выражает отношение, размыкающее языковой знак (слово) «изнутри» опосредуемой им двусторонней целостности. В различной комбинации понятия (означае-

мого) и акустического образа (означающего) ассоциативная связь – в качестве дискурсивного конструкта – задействуется для выполнения (как минимум) двойной функции: она призвана сблизить противопоставляемые стороны (как элементы структуры) и в то же время утвердить произвольность языкового знака, его независимость от вещи. Но если ее существование предшествует тем компонентам, которые она связывает, само понятие связи утрачивает смысл. Если же, наоборот, самостоятельно существующими полагаются связуемые ею звенья, между означаемым и означающим с необходимостью должно присутствовать некоторое сходство (пространственное или временное), что предполагается самим понятием ассоциативности. – А это, в свою очередь, противоречит принципу произвольности языкового знака (О.Н. Бушмакина). Природа этого сходства может быть отнесена либо с пространственно-временным единством вещи (вариант натурализации), либо с устойчивыми состояниями сознания (вариант психологизации). В первом варианте (не устраивавшем Соссюра) язык неизбежно становится номенклатурой, во втором – проблема существования ассоциативной связи переводится в (до сих пор неразрешенную) проблему памяти. Тогда ассоциативная связь «либо превращается в бесконечную субстанцию связи, которая никогда не достигает ни одного из связующих звеньев, либо переводит лингвистическую систему в психологическую, где языковое исследование невозможно» [2. С. 91]. Вместе с тем, как отмечает сам Соссюр, «слово напоминает собою дом, внутреннее устройство и назначение которого много раз менялись. Объективный анализ наслаивает одно на другое и подытоживает эти сменявшиеся во времени переустройства; но те, кто живет в доме, знают только одно его устройство» [12. С. 178]. И поскольку всякое слово есть слово языка, то же справедливо и для языковой реальности в целом, но также и для изменявшихся исторически взаимоотношений языка с миром (и человеком).

Ассоциативность, характеризующая современную стадию истории значений, имеет непосредственное отношение к различным вариантам семантических сдвигов при употреблении слова в т.н. «образном смысле», или переносном значении. На соотношении прямого и переносного значений слова строятся три основных типа лингвистических тропов (от др.-греч. *τροπος* – поворот, оборот речи): метафора – на соотношении по сходству (слово-за-слово), метонимия – на соотношении по смежности (слово-в-слово), и оксюморон – на соотношении по контрасту (слово-против-слово). Но язык сам по себе не производит метафор, он начинает принимать участие в их производстве лишь на той стадии своего развития, когда его связь с миром нарушается, – вплоть до полного разрыва. Фигуративность языковых тропов (сходство/смежность/контрастность) наглядно демонстрирует этот разрыв, всегда-уже перенесенный во внутриязыковое – семантическое (синтаксическое) – пространство. В метонимии он (пространственно) минимизирован, в оксюмороне – максимализирован, в метафоре же – в ее пространственно-временном *разрезе* (С. Жижек) – и минимизирован, и максимализирован одновременно. Поэтому фигуративность тропов (риторических и стилистических «фигур речи») не противоречит их же (ими же проецируемой) фигуральности, или абстрактности. – На ассоциативно-метафорическом уровне, опосредуемом самим лингвистическим дискурсом, они способны бесконечно предъявлять собственную фигуративную абстрактность, или абстрактную фигуративность. В этом смысле известный тезис Ж. Делеза – «всесилие языка состоит в том, чтобы говорить о словах» – может и/или должен быть дополнен положением «Теории слов» А.С. Липавского: «в ассоциативной проекции на вещи, действия и свойства». Иначе, на современной стадии истории значений в треугольнике язык/мир/человек «место» отношения «ассоциируется» уже не с языком, а с человеком в его способности к установлению множества разнообразных

произвольных связей между «словами» и «вещами». Неслучайно в текстах М. Хайдеггера («Время картины мира») этот непреодолимый онто-гносео-логический разрыв именуется субъективизмом: всякая ассоциация условна, произвольна, неустойчива, индивидуальна и потому *ненадежна*. – Как *память* (А. Введенский).

Несмотря на то, что язык изначально не «метафоричен» в своей основе, его избыточность проявляется в синонимии, которая необходима языку и у которой есть свои законы. «В синонимичности надо различать две стороны. Первая: одному и тому же понятию соответствует несколько слов. Уже это дает впечатление какой-то беспорядочности языка. Но впечатление это еще усиливается другой стороной синонимичности: слова, обозначающие одно и то же понятие, часто совсем не родственны друг другу, ничего общего по своему звуковому составу не имеют» [8. С. 279]. Синонимичность обусловлена смысловой равнозначностью исходных элементов, т.е. выделяемых Липавским трех типов (или шести видов) исконных согласных, варьируемых в зависимости от присоединения гласных (Ы или Е). Однако синонимы могут встречаться не только в разных *родах*, но и в разных *рядах* одного и того же рода, поскольку смыслообразование происходит через расщепление, сужение понятий. – Липавский называет это *горизонтальной синонимичностью*. Но синонимичность возможна и между словами разных *поколений* одного и того же ряда, так как в производном слове всегда сохраняется какая-то часть смыслового содержания того слова, от которого оно произошло. – «Возьмем, к примеру, ряд РЕШИ – РОЖДАТИ; и то и другое слово значит «испускать»; правда, последующее слово ограничило предыдущее, оставив ему только значение: «производить, родить»; но такое взаимоограничение произошло не сразу; и остатком прежнего, более широкого смысла этих слов будут их кристаллизации: РЕШИ – РЕКА и РОЖДАТЬ – РОДНИК. И то и другое образовались по смысловой линии: «источать –

источник». Правда, полной синонимичности тут нет, но она могла быть» [8. С. 280]. – Так возникает *вертикальная синонимичность*. Липавский также различает *гомологичную* и *аналогичную* синонимии. Первой соответствуют равнозначные слова, образовавшиеся по одним и тем же смысловым линиям (РОДНИК и РЕКА или РОДНИК и РУЧЕЙ); второй – равнозначный слова, произошедшие от разных смысловых линий (вариант конвергенции смысла).

«Аналоговыми» синонимами будут, в частности, ИСТИНА и ПРАВДА: «ПРАВДА происходит от ПЕРЕТИ – ПРИВИТИ, что значит – «стремить, толкать, ударять, давать направление», откуда ПРАВИЛЬНЫЙ – в заданном, надлежащем направлении, соответствующий, и ПРАВИЛО – заданное стремление, направление, ПРАВОТА и ПРАВДА – соответствие нужному, верному направлению, ИСТИНА же происходит от ИСТЫЙ, *ИСТО*, что значило «внутренний», откуда, например, др.-русские слова *ИСТО* – почки, тестикулы и *ИСТОБА*, *ИСТБА*, давшее начало нашему *ИЗБА* – внутренность, укрытое место, жилье («войди в избу» говорят стоящему на крыльце или в сенях). Обычное толкование в языкознании, что *ИСТБА*, *ИЗБА* происходит от *ИСТОПИТЬ*, конечно, неверно. Кроме того, *ИСТИНА* употреблялось еще в смысле «капитал» в противоположность процентам, т.е. основная, внутренняя часть капитала, его, так сказать, сердцевина. *ИСТИНА* значит «внутренность, настоящая, подлинная сущность»» [8. С. 280-281]. Но почему одним понятиям, или смыслам, соответствует множество синонимичных слов, а другим – лишь немногие слова, одно слово или их просто нет (ни одного)? – Отвечая на этот вопрос, Липавский вводит понятия *точек скопления* (или «наибольшей рождаемости») и *угасания слов*. – «Если смысл уподобить небу, а слова звездам на нем, то можно сказать, что распределение звезд на небе резко неравномерно: имеются такие места, где их особенно много, точки скопления» [8. С. 281]. Причина неравномерности – в некотором несоответствии языка, за-

данном в его первых двух сущностных проекциях (*на жидкость и на мускульное усилие*), «действительному» миру вещей, действий и свойств. Треугольник исходных значений – *тянуть(ся), стремить(ся), хватать(ся)* – имеет бесконечную площадь приложения и позволяет назвать в мире *всё*. – «Но это совсем не значит, что все, что есть в мире, одинаково легко и удобно назвать, исходя из этого треугольника значений» [8. С. 282]. Т.е. «неточное наложение» языка на мир – следствие обратной проекции, возникающей при взгляде на язык с «точки зрения» всего того, что есть в мире. Поэтому *вероятность* слова (точки скопления) определяется, или распределяется, между двумя «насколько»: во-первых, насколько данное – то или иное предполагаемое – значение «вписывается» в исходный треугольник значений и, во-вторых, какова степень «узости выбора для этого значения подходящих ему фактов в нашем мире» (т.е. насколько оно способно соответствовать какому-либо факту в мире). Как отмечает У. Эко, «...естественный язык стремится *выразить все*, то есть перелить в слова весь наш опыт, физический и умственный, отобразить ощущения, представления, абстракции, вплоть до вопроса, почему мы имеем Бытие, а не Пустоту. Правда, вербальному языку недоступна полнота выражения (попробуйте описать в словах разницу между запахом вербены и запахом розмарина)... И тем не менее из всех семиотических систем именно он обладает самым широким радиусом выразительности: именно поэтому почти все модели совершенного языка основывались на языке вербальном» [19. С. 33].

Но точки скопления слов оказываются и точками их «наивысшего вымирания», «наивысшей смертности», поскольку принципиальной избыточности языка противостоит экономичность его употребления. – «Между словами идет как бы непрерывная конкуренция за человеческое внимание; там, где синонимов больше всего, в точках скопления, там и конкуренция всего жестче, всего больше смертность» [8. С. 283]. В этом соперничестве выигрывают слова с наиболее специа-

лизированным – суженным – значением. Старые поколения малоспециализированных (древних) слов со временем уступают свое место новым поколениям: новые слова образуются из старых путем расщепления/сужения их общей площади (значений). С вымиранием слов родственные связи внутри языка ослабевают; образуются разрывы в рядах, из-за чего их смысловые линии размываются, стираются. Исходные слова были наиболее близки к точкам скопления слов и, в силу этого, наиболее широки по своему значению, что и послужило причиной их постепенного вымирания. Если они и сохранились (сохраняются) в языке, то лишь в чрезвычайно суженном (ущемленном) – в сравнении с первоначальным – значении. *Наименьшая вероятность* слов также соотносится Липавским с исходным треугольником значений, который означает, в конечном счете, *энергию*. «Энергетически насыщенные» слова образуются в языке легко, гораздо труднее – слова, означающие малую степень энергии или ее отсутствие. К таким *отрицательным* словам, как их определяет Липавский, трудно подобрать антонимы (чтобы образовать антонимические пары к ним, язык вынужден прибегать к различным обходным путям, – «хитрить»). Например, нет в точности противоположного слова к слову «рослый» (приходится обращаться к «низкий», «низкорослый»), «великан» («карлик», «лилипут», «пигмей» суть заимствования), «меткий», «ловкий» (антонимы к ним могут быть образованы лишь посредством отрицательной частицы «не») и т.д.

В заключении третьей части трактата Липавский поднимает вопрос о пределах изменения языка: возможен ли здесь предел как таковой или язык способен изменяться бесконечно? Согласно концептуальной/смысловой направленности «Теории слов», внутриязыковые изменения могут происходить при соблюдении следующих условий. – «Первое: принцип избыточности слов реализуется тем, что существует одновременно множество диалектов одного и того же языка. Второе: в противоположность этому, происходит время от

времени соприкосновение и смешение диалектов, благодаря чему совершается по принципу экономичности отбор слов. Третье: совершается переход от одной стадии понимания мира к другой, благодаря чему меняется и язык. Четвертое: языковые законы еще ощущаются, так что слова звучат не как условные термины, а как органические образования; язык воспринимается до некоторой степени как искусство; каждый чувствует себя участником его, имеет право продолжать развивать язык. Пятое: не существует зафиксированной общеобязательной нормы, преследующей всякое отклонение языка от нее» [8. С. 286]. Сегодня все вышеперечисленные условия уже не соблюдаются, не имеют места. На современной – *предметной* – стадии существования языка, в которую он всецело вошел, слова воспринимаются как названия отдельных понятий, вещей, действий, свойств и отношений. Поэтому язык «в наше время окаменевают, или уже окаменел». Его внутренние законы (говорящими *на языке*) уже не ощущаются, и дальнейшее развитие языка *в имманентной им перспективе* невозможно. – «Это не значит, конечно, что он вообще перестанет меняться. Окаменение речью отдельных слов будет продолжаться. Но оно созидательного значения не имеет» [Там же]. Внутренне присущие языку законы чрезвычайно просты: *симметричная таблица исходных элементов, вращение и кристаллизация, сохранение весового соотношения, треугольник исходного смысла, расщепление значения при вращении, вероятность слова* [8. С. 286-287]. Однако эти имманентные языку онтолингвистические – сконструированные на дискурсивном уровне – законы, при их кажущейся простоте, позволяют заново переосмыслить не только основные каноны лингвистики, но и узловые – сущностные – взаимоотношения между языком, человеком и миром.

Фонема ⟨j⟩ в системе со-гласных

Начало рассуждений в «Теории слов» Липавского непосредственно связано с названием трактата, представляющим отправной точкой онто-лингвистической интерпретации, или концептуализации, языка. В аспекте «теории» язык в трактате эксплицируется – разворачивается – как самоосновное целое, поскольку никак иначе он мыслиться не может (и не должен). В качестве минимальной языковой единицы выступает *слово*, что согласуется с представлением языка в концепции Ф. де Соссюра. Слово есть минимальная языковая единица, обладающая смыслом. Тем самым целостный и «элементаристский» подходы взаимообуславливаются. Первая часть трактата так и озаглавлена: «Состав слов». Соответственно, возникает некая элементарная лингвистическая структура – сочетание, или чередование, согласных и гласных (звуков). Далее Липавским онто-лингвистически задаются два основополагающих способа бытия языка: речь и письмо. В трудах М. Хайдеггера и Ж. Деррида первым акцентируется приоритет речи (чередование звуков и пауз), вторым – приоритет письма (чередование знаков и интервалов). Различие в способах бытия языка в аспекте сочетания гласных и согласных проявляется в том, что если речевое высказывание неосуществимо вне, или без, участия гласных, то основой древнего письма служили согласные. Трактат Липавского начинается с обращения к этой твердой основе: «В древней письменности была особенность: писались в строку только одни согласные, а гласные либо совсем пропускались, либо обозначались над или под строчкой, как будто существенного значения они не имели и нужны были только для уточнения согласных, для придачи им разных оттенков» [8. С. 254]. Поэтому согласные – это своего рода первоэлементы («семена слов»), предопределившие возможность существования языка.

Описательная фонетика современного русского языка насчитывает в его звуковом строе сорок три фонемы: шесть гласных и тридцать семь согласных. Но поскольку в концепте «Теории слов» изначально задействуются *три* гласных – «ь», «е» плюс «и» в смыслоутверждающей частице ТИ, возникает вопрос о происхождении и функции гласных «а», «о», «у». А также вопрос о фонеме «ј» («й»), которая несмотря на то, что причисляется в лингвистике к системе согласных фонем, тем не менее не вполне вписывается в этот фонемный ряд и, по Липавскому, не относится к числу первоэлементов, или «семьям слов». Кроме того, далеко не все лингвисты придерживаются мнения о возможности строгого разделения гласных и согласных (Ф. де Соссюр, М. Граммон, Л. Щерба).

По какой же причине Липавским первоочередно выделяются гласные «ь» и «е»? С одной стороны, они различаются по произношению («широкое и узкое произношение» гласных), с другой – их связывает отношение сочетаемости/несочетаемости с «ј»: если гласные «ь» и «и» могут произноситься только перед «ј», но никогда не произносятся после этой фонемы, то гласная «е» сочетается с «ј» в положении как «до», так и «после», то же относится к гласным «а», «о», «у». Могут ли быть названы эти гласные («а», «о», «у») «природными», или «естественными»? Или они скорее должны быть определены как «вспомогательные» гласные, необходимые для членораздельного произнесения различных сочетаний согласных? – Известно, что в соответствии с утверждаемым в лингвистике *законом открытого слога*, действовавшим до XII века, в праславянском и ранних славянских языках (в частности, древнерусском) все закрытые слоги так или иначе должны были быть преобразованы в открытые. Закон открытого слога распространялся и на заимствования, явившись частным проявлением т.н. общей тенденции к возрастающей звучности. Например, в фонетической транскрипции слова «коммунизм» в русском языке между двумя последними согласными произносится, «проскальзывает» фонема «ь», в босний-

ском (язык южнославянской группы, традиционно считающийся диалектом сербохорватского) – и произносится, и прописывается фонема «а»: «komunizam».

Анализируя систему гласных, Л.В. Щерба замечает: «Безусловно самостоятельными гласными фонемами русского языка являются *а, е, и, о, у*. Что касается *ы*, то это в значительной мере менее самостоятельная фонема, находящаяся в интимных отношениях с *и*, которого она является как бы оттенком. Происходит это потому, что *ы* никогда не употребляется в виде отдельного слова, никогда не стоит в начале слова и возможно лишь после „твердых“ согласных, после которых оно заменяет этимологическое *и...*» [17. С. 50]. И далее: «Как известно, *ы* является специфическим звуком, не встречающимся в западно-европейских языках» [17. С. 70]. «Несамостоятельность» и специфичность фонемы «ь» сблизжает ее с полугласной/полусогласной – «мерцающей» – фонемой «ј», характеризуя которую Л.В. Щерба пишет: «Многим кажется неправильным отождествление того звука, который мы обозначаем в нашем правописании буквой *й* (например, в слове *край*), с первым элементом звукосочетаний, обозначаемых буквами *я, ю, ё, е* в начале слов, после гласных и после *ь* и *ъ* (например, в словах *яма, край, объятия, котья, юг, союз, адъютант, вьюн, ёлка, приём, объём, копё, ель, поели, подъезд, в ладье*). При этом подчеркивается, что в первом случае мы имеем дело с неслоговым гласным, а во втором – с особым согласным, известным в западных языках под названием йота (по-немецки *j*, по-французски и по-английски *y*). Во всем этом есть большая доля правды. Оставляя в стороне вопрос о фонетической природе того звука, который мы обозначаем в нашей письменности через *й*, как вопрос очень трудный и спорный, следует признать, что, действительно, в произношении первый элемент слова *я* (обозначим его через „j“) отличается от второго элемента в слове *ой* (обозначим его через „j“). Однако это различие стоит и в непосредственной связи со слоговым строением: в начале слога, т.е. для русского языка все-

гда перед гласным, слышится „j“ („кра-*ја*, ма-*ја*, па-*ју*“), а в конце слога, т.е. для русского языка всегда, когда он стоит не перед гласным, слышится „й“ („край, мой, пой“); при этом „й“ в начале слога и „j“ в конце его в русском языке абсолютно невозможны. Из этого следует, что звуки „j“ и „й“ являются лишь вариантами единой фонемы. Который из них считать за главный? Так как все согласные в конце слога, будучи сильноначальными, а следовательно слабоконечными, в русском языке слегка редуцируются, то главным вариантом следует считать „j“... Распространенность мнения о необходимости различать в русском языке „j“ и „й“ объясняется тем, что семантизованное противоположение начально-сложной и конечносложной фонемы „j“ нашло себе графическое выражение в русском алфавите, тогда как у прочих согласных фонем это же самое противоположение, не менее семантизованное, чем у фонемы „j“, алфавитно ничем не выражается» [18. С. 217].

Возникает вопрос об онто-лингвистическом статусе ⟨j⟩ в фонетической системе русского языка и – шире – в языковой системе в целом. Странность этого звука проявляется в том, что он не имеет самостоятельной силы, т.е. лишен возможности независимого – автономного – существования. В различных сочетаниях с другими звуками – «до» / «между» / «после» – ⟨j⟩ так или иначе влияет на них, однако их основа, несмотря на это (значимое) влияние, всегда сохраняется. Кроме того, именно благодаря присутствию ⟨j⟩ осуществляется первичное разграничение фонем на гласные и согласные. Как полагает О.Н. Бушмакина, это промежуточное присутствие ⟨j⟩ является пограничным. Иначе, фонема ⟨j⟩ сравнима с математическим понятием *ноля*. «Ноль» также лишен самостоятельного существования, как таковой ничему (в мире) не соответствует, но его добавление всегда изменяет число, сохраняя при этом основу последнего. В этом смысле ⟨j⟩ может быть назван «нулевой» фонемой, или точкой *сгиба* в переходе от одного звука к другому в речи и от одной буквы к другой

на письме. Собственно, в ситуации речевого интонирования и открывается возможность перехода от *одного* способа бытия языка к *другому* – от речи к письму. Иначе, присутствие «мерцающего» ⟨j⟩ способствует началу фонетической записи, в которой он раскрывается (в собственных оттенках), как-то эксплицируется и воплощается в букве (или буквах: *j / й*). Отсюда, в частности, проводится и утверждается лингвистическое различие между фонетической и фонематической транскрипциями. Тем самым ⟨j⟩ оказывается неким концептуализированным отношением между речью и письмом, т.е. позволяет *различить* эти два основополагающих способа бытия языка в их несводимости друг к другу. Это значит, что письмо не является всего лишь записью речи, но предъявляет язык в определенной временной перспективе, сохраняя его историческую основу в рефлексивном движении от настоящего к прошлому. – Письмо не воспроизводит речь, оно производит свои собственные смыслы, прочитываемые и прописываемые во множестве интерпретаций, задающих движение уже от настоящего к будущему.

В концепте «Теории слов» твердую языковую основу составляют согласные. Онтически они отсылают к неким вещам мира в их явленности и устойчивости. «Рассыпанные» согласные связываются, выстраиваются в словесные ряды в чередовании с гласными. В речевом высказывании твердые вещи становятся текучими, подвижными, онтологически созвучными смыслу их со-присутствия в мире. – Речь заставляет эти твердые вещи *течь* (О.Н. Бушмакина). Какое отношение имеет ⟨j⟩ к вещам мира? Какое состояние *в мире* он выражает и чему в нем соответствует? В определенном смысле ⟨j⟩ сравним с лакановским непрерывно ускользающим «объектом „a“» (*objet a*). Онто-лингвистически «*objet j*» одновременно и связывает, и различает основные языковые структуры в точке сгиба, – (в тот момент) когда один способ их (само)описания уступает место другому. Проявляясь в речевом высказывании лишь в собственных оттенках (или аллофо-

нах), «*objet j*» сохраняет присущую ему двойственность и/или неопределенность и на письме (*j / й*), и сам оказывается *складкой отношения* между этими двумя взаимопринадлежными, но не тождественными способами бытия языкового континуума (речью и письмом). Иначе, «*j*» всякий раз делит единицу языка надвое. Возможно, онто-лингвистически «*j*» когда-то (на первой стадии со-осуществления языка с миром) служила точкой трансформации «физиологического» звука в осмысленный, т.е. собственно языковой. Возможно поэтому отношение сочетаемости/несочетаемости с «*j*» устанавливается в языке прежде всего с теми гласными, которые в концепте Липавского выделяются в качестве определяющих, или начальных («ь» / «е» / «и»); причем (исконно русское) «ь» находится в неких «интимных отношениях» с «и», а эта последняя гласная имеет непосредственное отношение к «*j*». Но это представление безусловно нуждается в дальнейшей – более глубокой – концептуальной разработке.

Возвращение к вопросу о происхождении языка

Согласно концепту «Теории слов» А.С. Липавского, внутренне присущие языку законы чрезвычайно просты: *симметричная таблица исходных элементов, вращение и кристаллизация, сохранение весового соотношения, треугольник исходного смысла, расщепление значения при вращении, вероятность слова*. Внутренняя связность, взаимозависимость и/или взаимообусловленность названных «законов», или принципов/начал, языкового основоустройства порождает бесконечное – необозримое – множество вариаций их возможных сочетаний и, соответственно, изменений внутри языкового континуума, где каждое слово образуется и развивается по-иному в сравнении с другими словами, имеет характерные отличия и свою собственную судьбу. Иначе, если сами названные принципы/начала *инварианты*, то число вариантов их разнообразных констелляций бесконечно, поэтому под влиянием комбинаторики

языковых законов каждое слово вычерчивает *свою собственную индивидуальную траекторию*. Ее прослеживанию способствуют некие «особые признаки», или различные внешние («мелкие») отличия слова от других. Они служат «намёками», или «шифрами», на которые и необходимо обращать внимание при ре-конструкции/восстановлении истории слова. Но поскольку это *индивидуальные* «шифры», полный список «особых признаков» дать невозможно, такая задача была бы бессмысленной, т.е. невыполнимой. Поэтому начатые Липавским герменевтические «заметки о словах» (имеется в виду последняя – шестая – часть трактата) могут быть продолжены, причем с произвольной точки, т.е. с любого слова или последовательности слов, сопринциальных тому или иному роду. Таких слов и последовательностей – неопределенное множество, и «заметки» о них – именно в качестве *заметок* – не нужны ни в строгой системе, ни в законченности.

Понятие *кода*, активно используемое в работах Р. Якобсона и У. Эко применительно к языку в целом и коммуникативным аспектам смыслопорождения в частности, А.С. Липавским не задействуется. И термин «шифр» здесь не является его «аналогом»: «особые признаки», служащие «намёками» на этимологические «корни» слова, «...обязаны своим происхождением своеобразию траектории данного слова, как бы запечатлели в зашифрованном виде его историю» [8. С. 287]. Современное состояние каменющего языка предъясняет эти шифры как *иероглифы*, – в том смысле, что слова, утратившие родственные связи, уже не касаются, не проговаривают, не слышат друг друга. Этот негативный аспект современной языковой «иерографии» задается (и в дальнейшем все более усугубляется) ассоциативной проекцией на вещи, действия, свойства и отношения между ними. Однако с негативным аспектом непосредственно граничит и «позитивный». – Все та же ассоциативность (на современной стадии существования языка) порождает множество новых индивидуальных (проговариваемых либо прописываемых индиви-

дами) смысловых линий и – одновременно – коммуникативных нестыковок, что свидетельствует о невозможности «кодировки» естественного языка, т.е. приведения его к однозначности по аналогии с языками искусственными. Естественный язык отличен от искусственного также тем, что «в искусственном имеется небольшое количество возможных форм и все они реализуются; в естественном количество возможных форм огромно и только небольшая часть их в каждом случае реализуется, в нем есть непредвиденность» [8. С. 262]. Возможно, понятие кода в лингвистике и семиотике оказывается востребованным как раз в связи с нарастанием коммуникативных шумов (Н. Луман) и поиском способов их устранения. Но если любое (осмысленное) высказывание *избыточно* (У. Эко, О.Н. Бушмакина) и требует (нуждается в) интерпретации, то ассоциативность и виртуализация реальности (в открывшейся виртуальной глобализованной пространственно-временной перспективе) умножают это требование, проецируя неопределенное множество возможных интерпретаций в гипертекстуальном пространстве современности. Неслучайно «Теория слов» Липавского возникает на стадии окаменения языка, когда его *естественное* развитие прекращается и изначально присущая языку субъективность, или избыточность, угасает. Но угасая внутри языка, она целиком переносится в область мышления, которую он (естественный язык как таковой) определяет к существованию. Движение, шедшее изнутри языкового континуума, сменяется на противоположное: язык становится мыслимым – конструируемым – объектом в различных областях знания, – лингвистике, математике, литературе. Концептуализируясь, он распознается уже в статусе языка-объекта, и в качестве полярных точек здесь могут быть определены области *поэтического экспериментирования* (различные направления в русском авангарде начала 20 в., в частности, фонетическая «заумь» А. Крученых, «геометрическая», или «векторная», теория языка В. Хлебникова, поэтика текучести А. Туфанова и др.) и

математического моделирования (языки математической логики и программирования). Линия размежевания между *poesis*'ом и *gnosis*'ом прочерчивает границу между субъективизмом (ассоциативность) и объективизмом (формализация).

Существенное различие между понятиями кода и шифра состоит в том, что кодирование предполагает фиксированное преобразование *информации* из одного вида в другой и служит/используется для устранения ошибок при передаче данных. Если термины «код» и «информация» заимствуются из естественнонаучных – физических – моделей и затем становятся определяющими при конструировании различных автоматизированных систем и робототехники, то термин «шифр» отсылает к одной из старейших наук – криптографии, чья история насчитывает несколько тысячелетий. В криптографии понятие шифра притягивает к себе парное понятие ключа.

Какова «криптографическая стойкость» языка? Способен ли человек, будучи *языковым существом* (М. Хайдеггер), понять основоустройство языка, не выходя за пределы той системы, которой он принадлежит? Всегда уже присвоенный языковой системой, он в то же время (*a priori*) *разделяет* с ней свое существование, поскольку распознает себя (реализует эту возможность) в ее границах – во множестве имен, понятий и определений. «Криптографическая стойкость» языка становится ощутима именно тогда, когда она подвергается рефлексии, или сомнению. В концепте «Теории слов» язык как *logos* граничит с человеком (*gnosis*) и миром (*ontos*). Традиционно философско-лингвистическое (или лингво-философское) разграничение между *gnosis*'ом и *ontos*'ом проводится в вопросе о том, «...создан ли язык «по установлению» (*thesei*) или «по природе» (*physei*) вещей?» [20. С. 6.]. Многовековая история рассмотрения этого вопроса показывает, что в отношении его смысловой направленности язык демонстрирует абсолютную «криптографическую стойкость».

Предваряя историко-философское исследование такой – сложившейся в традиции – постановки вопроса и логические перспективы его решения, Б.В. Якушин отмечает: «Античная философия фактически высказала почти все возможные точки зрения, которые впоследствии главным образом углублялись и комбинировались. Если философ считал, что язык создан «по установлению», то он должен, естественно, отвечать на вопрос, кто его «установил», и здесь возможны следующие ответы: бог (боги), выдающийся человек... или коллектив людей (общество). Возможны комбинации этих ответов: человек, наделенный божественной силой, человек совместно с коллективом людей. Если же философ полагал, что язык создавался главным образом «по природе», то его гипотеза утверждала или то, что словам соответствуют свойства вещей, или то, что им соответствуют свойства человека (его поведение), или то и другое вместе» [20. С. 6].

В четвертой части трактата («О языкознании») Липавский выделяет эти противоположные направления в структуре концепта «*phusei*» (*φύσει*), совпадающие с линиями психологизации и натурализации в истолковании существа языка, отвергая как оноματοпоэтическую теорию, так и теорию, приписывающую каждой букве «свое особое значение» и/или «эмоциональный оттенок». Ошибочность обеих теорий проявляется в ассоциативной производности опосредуемых ими представлений от других систем, не граничащих с языком *непосредственно*: «...систему речевых звуков привести в соответствие с системой эмоций так же невозможно, как и с системой природных звуков. Слишком различны все эти системы, и установление параллелизма между ними – всегда натяжка» [8. С. 289]. Самоосновность, или автономность, языка как *системы* предполагает, что ему «так же нет дела до эмоций, как и до звуков или цветов. Все эти значения производны» [Там же]. Иначе, язык, безусловно, способен *выражать* эмоциональные состояния, или чувства, или даже подражать звучанию вещей мира, но не может (и не мог изначально)

отражать (воспроизводить) другие – территориально внешние ему – порядки. В этом аспекте концепт «Теории слов» не противоречит принципу произвольности, или немотивированности, языкового знака, утверждаемому Ф. де Соссюром и уточняемому – в пределах ассоциативности – Э. Бенвенистом.

Э. Бенвенист подчеркивает, что «произвольность существует лишь по отношению к явлению или объекту материального мира и не является фактором во внутреннем устройстве знака» [1. С. 94]. Его структурное единство как носителя *значимости* обеспечивает «совмещенная субстанциальность означающего и означаемого». Поэтому произвольность характеризует не знак, а *значение*, чья подвижность (или «относительность») внутри языка обусловлена всей совокупностью знаков, заданных в их системном единстве. Системная организация языка позволяет «говорить о расположении и соответствии частей в структуре, доминирующей над своими элементами и обуславливающей их. Все в ней настолько *необходимо*, что изменения как целого, так и частей взаимно обусловлены. Относительность значимостей является лучшим свидетельством того, что они находятся в тесной зависимости одна от другой в синхронном состоянии системы, постоянно пребывающей под угрозой нарушения и постоянно восстанавливаемой. Дело в том, что все значимости суть значимости в силу противопоставления друг другу и определяются только на основе их различия. Будучи противопоставлены, они удерживаются в отношении *необходимой обусловленности*. По логике вещей необходимость подразумевает оппозицию, так как оппозиция есть форма выражения необходимости. Если язык представляет собой не случайный конгломерат туманных понятий и произносимых наобум звуков, то именно потому, что его структуре, как всякой структуре, внутренне присуща *необходимость*» [1. С. 95].

По Бенвенисту, из признания двусторонности языкового знака – а это положение лингвистической модели Сос-

сюра им признается – не должна следовать его характеристика как произвольного. Наоборот, связь между означающим и означаемым *необходима*, – в том смысле, что она *субстанциальна*. Под «совмещенной субстанциальностью» имеется в виду отсутствие в сознании говорящего (не лингвиста) «пустых форм» и «не получивших названия понятий». – Для того, кто высказывается, «знак целиком покрывает реальность и господствует над нею; более того, он и *есть* эта реальность (*nomen omen*, табу слов, магическая сила слова и т.д.) [1. С. 93]. Сама же проблема «φύσει или θεσει?» как «переведенная на язык лингвистики философская проблема соответствия разума действительности» может быть решена «только путем принятия той или другой точки зрения». – «Лингвист, возможно, в один прекрасный день сможет с пользой ею заняться, но пока ее лучше оставить» [Там же]. Парадоксальность (противоречивость) «совмещенной субстанциальности» заключается в том, что, реализуя принцип «*nomen est omen*», она тем не менее не является причиной самой себя (*causa sui*), поскольку предполагает *предметную мотивацию* обозначения (*motivation objective de la désignation*). Хотя эта мотивация и «подвержена действию различных исторических факторов», с точки зрения Бенвениста, как таковая, она остается неизменной и/или действительной для языка на протяжении всей истории его существования и развития, – в ассоциативной проекции на вещи, действия, свойства и отношения между ними. – Никакие иные проекции теоретической лингвистикой не просматриваются и потому для нее не существуют. А это значит, что «для современной науки о языке не существует самого вопроса об истории значений: она считает, что нынешний ассортимент понятий единственный возможный, он существовал в готовом виде всегда, разве что в более урезанном виде прежде. Для нее нет вопроса о трансформации смысла, как для естествознания не было вопроса о трансформации животных и растительных видов,

пока они считались одинаковыми во все времена, незыблемыми» [8. С. 291].

В «геометрической», или «векторной», теории языка В. Хлебникова каждому звуку речи приписываются особые, только ему присущие свойства, причем основная смысловая нагрузка – также, как и в «Теории слов» – падает на согласные: «...согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть имя» (Цит. по: [10]). Образно представленным согласным соответствуют различные геометрические движения, прочерчивающие определенную пространственную, или пространственно-временную, модель мира (заглавие одной из статей Хлебникова – «Время мера мира»); в одном из набросков Хлебников отчетливо проговаривает стремление «свести все понятия к немногим чисто геометрическим операциям на логическом поле» [Там же]. Каждый согласный характеризуется не единичным признаком, но точно заданным «пучком признаков» (термин Р. Якобсона), как бы обрисовывающим смысловой инвариант звука. Согласные соотносятся не только со звуковыми, но и со зрительными образами, наделяющими их формой и цветом: например, *В* предстает «в виде круга и точки в нем», *Г* обозначает «движение точки под прямым углом к основному движению...», «*Ч* [видится] в виде чаши»; пространственная структура звука (либо слова) окрашивается в разные цвета, например, цвет *М* – синий, «слово *он* = нежное как слабосмуглистая щека ребенка»; согласные сопоставляются и с арифметическими операциями: *К* – со сложением, *В* – с вычитанием, *С* – с умножением, *М* – с делением [Там же]. В наброске поэтического концепта азбуки «звездного языка» утверждается: «Если собрать все слова, начатые одинаковым согласным звуком, то окажется, что, подобно тому, как небесные камни часто падают из одной точки неба, так все слова летят из одной и той же мысли о пространстве» [Там же].

«Опространствливание», или геометризация, языка у Хлебникова тем не менее происходит не из внеш-

них/трансцендентных языку оснований, но затрагивает его глубинное энергетическое начало, сохраняемое и предъявляемое каждым согласным звуком в той или иной – поэтически выраженной/прочитываемой – пространственно-временной перспективе. Язык самоосновен, как и природа, и обнаруживает с ней *эту* общность, зашифрованную в «первоатамах» звуков: «По-видимому, язык так же мудр, как и природа, и мы только с ростом науки учимся читать его» (Цит. по: [3. С. 287]). В подразделе «Геометричность языка», обращаясь к теории Хлебникова, Липавский отмечает: «Если отрешиться от ошибочного приписывания каждому звуку речи особых, ему только присущих свойств, то об этой теории, созданной поэтом, можно сказать, что она является наиболее глубоким проникновением в сущность языка. Ибо здесь язык выводится уже не из внешних ему свойств, не из подражания чему-либо, а из присущих самому процессу речи силовых линий, направлений освобождения энергии. Слова по этой теории являются как бы векторами испускания энергии. Все же и эта теория неправильна. Ошибка ее лежит не только в приписывании каждому звуку отличных от другого свойств, а гораздо глубже. Дело в том, что эта теория пользуется для определения изначальных векторов языка геометрией нашего пространства. А эта геометрия гораздо моложе языка и является до некоторой степени его же созданием. Действительно, наше представление о пространстве, наша геометрия есть абстракция абсолютно твердого тела, создавшаяся благодаря проекции языка на вещи и действия. Таким образом, теория эта приписывает языку нашу геометричность, на самом деле ему не свойственную» [8. С. 290-291].

В «Философии искусства» Ф. Шеллинга рассмотрению языка посвящен параграф (§ 73), где философ говорит о самообъективации идеального единства в речи, или языке, существо которого раскрывается через разрешение *особенного в общем, конкретного в понятии*. Реальное единство, противоположное идеальному, представляет общеизобразительное,

или пластическое, искусство, чьей формой становится материя. Оба единства распознаются как две стороны *абсолютного*, сущность которого составляет вечное продуцирование, равнозначное абсолютному утверждению, или познанию. Их взаимопринадлежность применительно к идеальному единству рефлексивируется в тождестве языка и мышления. – «Речь, взятая реально, есть то же разрешение конкретного во всеобщее, бытия в знание, которое идеально есть мышление. С одной стороны, речь есть непосредственное выражение *идеального* – знания, мышления, ощущения, хотения и т.д. – в *реальном*; постольку речь сама есть произведение искусства. Однако, с другой стороны, она также представляет собой произведение природы, причем нельзя предполагать, что она, как одна из необходимых форм искусства, непосредственно изобретена или создана искусством. Итак, она есть природное произведение искусства (*ein natürliches Kunstwerk*), каково более или менее все, что создает природа» [15. С. 184-185].

Самообъективация абсолютного акта познания претворяется в различении двух форм, или сторон, его событийного осуществления. Реальная сторона облечения бесконечного в конечное, становясь формой особенного единства, превращается в бытие. – Поскольку сам абсолютный акт познания тождествен идее бесконечного самоутверждения целого, в каждой из своих сторон – как в реальной, так и в идеальной – он продуцирует определенные, или особенные, единства. Воспринятое в своей относительности, реальное единство проявляется в виде утвержденного, или материи, и становится символом абсолютности идеи, которая познается здесь сквозь эту материальную оболочку. В идеальном мире идея оформляется в определенное идеальное единство, противоположаемое – как особенное – реальному единству. – «Однако в качестве чего-то чисто идеального идея не объективируется, она возвращается в субъективное и сама оказывается субъективной; ...идея необходимым образом непосред-

ственно стремится *снова* к оболочке, к телу, через которое она объективируется, не теряя своей идеальности; она интегрируется опять через реальное. В этом интегрировании зарождается наиболее соответствующий символ абсолютного, или бесконечного, утверждения бога, ведь это утверждение изображается *здесь* через реальное, не переставая оставаться идеальным (что именно и является наивысшим требованием), и, как легко это усмотреть, *этот* символ и есть язык» [15. С. 186].

Тем самым Бог в системе Шеллинга не выступает в качестве *теологического* понятия. Идея Бога выражает *всеполноту* (кантовское *universitas*) абсолютного акта познания, или бытия, заданного в бесконечной временной неопределенности и неограниченности (в дальнейшем тождество бытия и времени закрепляется в философской герменевтике М. Хайдеггера). Это Бог, освобожденный от «удушающих оков Вечности», на что и служит указанием, по С. Жижеку, вочеловечивание Бога в фигуре Христа (См.: [5. С. 21-22]). Это полнота бытия, развернутая во множественности собственных состояний, каждое из которых предъявляет мышление языка в определенном аспекте его существования. Иначе, по мысли Шеллинга, Бог философии, или *мета-физики*, есть *свобода мышления* в его открытости бытию. По мысли Хайдеггера, истина открытости как *не-потаянности* принадлежит языку и даруется им, – в переводе с греческого «истина» – *ἀλήθεια* («алейя») – и значит: «несокрытость». – «Божественное знание символически выразилось в мире через язык; стало быть, реальный мир в *целом*, именно поскольку сам он опять-таки есть единство реального и идеального, есть первичный язык. Однако *реальный* мир более не есть живое слово, речь самого бога, но лишь изреченное, застывшее слово» [15. С. 186-187].

В говорении языка «изреченное, застывшее слово» природы оживает: «твердые» вещи мира становятся текучими, подвижными, онтологически со-звучными смыслу их со-присутствия в мире. – Речевое высказывание заставляет эти

«твердые» вещи *течь* (О.Н. Бушмакина). Называя язык (речь) *природным произведением искусства*, Шеллинг, по-видимому, имеет в виду не только имманентный языку спинозистский постулат тождества *природы творящей* (*natura naturans*) и *природы сотворенной* (*natura naturata*), т.е. самоосновность и/или избыточность языка по отношению к миру, но и многообразие/множественность языков, а также и то, что только человек *от природы* способен заговорить на любом из них и благодаря именно этой способности *стать человеком*. Если естественный язык как таковой инвариантен, то каждый национальный язык, или язык определенной этнической общности, предстает одним из его вариантов, реализуя тем или иным образом (грамматически) сущностное начало единого естественного языка – быть осмысленным, поскольку естественный/человеческий язык есть бесконечная работа смысла. – «Язык, взятый в абсолютном смысле или сам по себе, есть только о д и н, точно так же как разум только о д и н; но, подобно тому как из абсолютного тождества выделяются различные вещи, точно так же из этого единства образуются различные языки, каждый из которых составляет замкнутое целое, абсолютно обособленное от других, и все-таки все сущностно представляют собой единое не только по внутреннему выражению разума, но также в отношении отдельных элементов, которые, за исключением немногих нюансов, одинаковы в каждом языке. Ведь само это внешнее тело в самом себе снова есть душа и тело. Гласные суть как бы непосредственное выдыхание духа, формирующая форма (утвердительное); согласные суть тело речи или формируемая форма (утвержденное)» [15. С. 187-188].

В концепте «Теории слов» акцентируется *утвержденное* – «тело речи», согласные, на письме (в древней письменности) ставшие телом языка. Точки зрения Шеллинга и Липавского близки (по сути совпадают) и в представлении о том, что каждый язык *в определенном смысле* «составляет замкнутое целое, абсолютно обособленное от других», образующих в

широком смысле одно сущностное единство, или единое. Независимо от Шеллинга, то же положение, или тот же постулат, утверждается и Липавским: по отношению к русскому языку – в первом смысле, и языку в целом (включая концепт праязыка) – во втором; такая предпосылка позволяет Липавскому пересмотреть вопрос о происхождении языка безотносительно к сложившемуся в лингвистике методу сравнительного анализа. Касаясь этого вопроса Шеллинг замечает, что «он становится понятным, лишь поскольку исходят из всего универсума в целом», а такой подход требует философской концептуализации – онтологической, или онтолингвистической. – «Весь вопрос о происхождении языка, как его понимали до настоящего времени, считался вопросом чисто эмпирическим, следовательно, до него философу не было никакого дела; философа интересует исключительно выяснение происхождения языка из идеи, и в этом смысле язык все так же подобно универсуму вытекает безусловным образом из вечного действия абсолютного познавательного акта, который, однако, находит возможность выразиться в разумной личности» [15. С. 189].

Наконец, в единственном примечании на полях «Философии искусства» Ф. Шеллинг утверждает: «Вообще язык = художественному инстинкту человека; и, подобно тому как нравственное есть учитель для инстинкта, точно так же оно есть учитель и для языка. Оба утверждения – как то, будто [язык возник] путем изобретения человека, через свободу, так и то, будто [он возник] путем божественных наставлений, – ложны» [15. С. 189]. Таким образом, философ задает/обозначает логические пределы интерпретации вопроса о происхождении языка, отсекая/исключая «антропологическую» и «теологическую» возможности истолкования глоттогенеза в ряду составляющих концепта «thesei» (θῆσει). Антропологическая возможность реализуется при создании искусственных языков, так или иначе претендующих на универсальность (например, языки логики и математики или – в

широком смысле – язык науки), теологическая – в представлении некоего совершенного языка и его предполагаемых отголосков в древних языках тех или иных этносов. То есть если универсальный язык всегда принадлежит «недалекому» либо «отдаленному» будущему времени, то совершенный – безвозвратно утраченному прошедшему. Существенное различие между понятиями совершенного и универсального языка проводится У. Эко: «Недостаточно четко различаются совершенный язык и язык универсальный. Одно дело – искать язык, способный отразить исконную природу вещей, и совсем другое – язык, на котором все могут и должны говорить. Не исключено, что совершенный язык может быть доступен лишь немногим, а язык, приспособленный для всеобщего употребления, окажется несовершенным» [19. С. 80].

Но исключению подлежат и две оставшиеся возможности – «этнологическая» и «натуралистская». Первая по причине того, что любая сложившаяся этническая общность сама является продуктом языкового единства (истории его непрерывного *системного* – по Липавскому, *стадийного* – развития) и (ре)конструируется (распознается) на определяющем её языковом уровне. Вторая – поскольку *язык природы* (растительных, насекомых и животных видов), будучи способом передачи информации о мире, «генетически» заложенным в каждый сформировавшийся биологический вид, подчинен *принципу необходимости* и не предполагает какого-либо перехода – «качественного скачка» – на трансцендентный ему уровень мышления человеческого языка. Если он и способен к изменению, то лишь по причине каких-либо трансформаций в природном окружении, т.е. под влиянием внешних факторов: изменяется среда обитания – происходят (возможно будут происходить) изменения и в сигнальных системах биологических видов.

Человеческий язык не мог возникнуть одномоментно, но не мог он и «развиться» до состояния человеческого языка эволюционно, – гегелевская категория становления показав-

тельна здесь в том смысле, что предельно отчетливо демонстрирует невозможность перехода от не-существования к бытию того, что всегда уже осуществляется, разворачивается, или, по М. Хайдеггеру, присутствует, пребывая при собственной сути. В переписке с К. Ясперсом Хайдеггер (проводивший в 1925 г. семинары по Гегелю и Канту) замечает: «Из становления я «понимаю», что в нем в снятом виде заключены бытие и ничто. Их можно формально найти в становлении, но это вовсе не означает обратного: что бытие и ничто конституируют становление. Мне кажется, Аристотель еще в противовес Платону совершенно справедливо утверждал, что из ετεροτης, ου ω μη ου; еще не дано и не понято никакое движение. Дальше двинуться не могу, «дыра», которая имеется здесь в диалектическом движении, наиболее фундаментальна, ведь она доказывает мне, что Гегель с самого начала категорически не совладал с жизнью–существованием–процессом и тому подобным» [9. С. 110].

Тем самым «шифры трансценденции» («теологическая» и «натуралистская» возможности) и «шифры имманенции» («антропологическая» и «этнологическая» возможности) образуют четверицу, в которой язык помечает собственные непреодолимые пределы, но также и пределы разума (ratio), ограничивая его символическое пространство топосами ноля и бесконечности. – Автономный грамматический строй языка должен включаться в работу весь целиком, производя и воспроизводя собственные структуры совместно с сопринадлежащими им значениями и/или смыслами. По утверждению Ф. Шлейермахера, «язык есть нечто бесконечное, ибо всякий элемент в нем особым образом определяем посредством прочих» [16. С. 48]. Иначе, язык всегда уже должен существовать в автономном – бесконечно продуктивном – подвижном тождестве материального (реального) и идеального начал, хотя материальность языка (материальность звука и знака) не связана с его «природностью» (physei), а идеальное имманентное языку смысловое начало – с принципом ratio (thesei).

В концепте «Теории слов» Л.С. Липавского вопрос о происхождении языка тождествен понятию *нулевого вектора* в математике, «точки приложения» которого распознаются в четырех названных нереализуемых возможностях: «геологической» (вечность), «натуралистской» (бесконечность), «антропологической» (конечность) и «этнологической» (время). Но несмотря на то, что начало *нулевого вектора* совпадает с его концом, а координаты равны нулю, сам вопрос о происхождении языка, *возвращение* к нему позволяет выстроить оригинальный философский – онто-лингвистический – концепт, рефлексивное прочтение которого неотделимо от необходимости его интерпретации. Если понятие *шифра* и применимо к языку в целом, то лишь в его исходном – первоначальном – значении: французское chiffre («цифра») этимологически восходит к арабскому صفر , sifr – «ноль». В терминах криптографии это означает, что язык в его основоустройстве может и должен пониматься как *открытый текст* (англ. plain text), приглашающий к собственной концептуализации, а в вопросе о происхождении языка – *настаивающий* на ней. Ключами к прочтению языка, как *открытого текста*, в «Теории слов» служат ее концептуальные составляющие: *симметричная таблица исходных элементов, вращение и кристаллизация, сохранение весового соотношения, треугольник исходного смысла, расщепление значения при вращении, вероятность слова* [8. С. 286-287].

Согласно Ф. Шлейермахеру, «грамматически полным пониманием языка было бы лишь понимание его средоточия» [16. С. 160]. По мысли Липавского, энергетическим и/или смысловым средоточием языка – ключом к его семантическому многообразию – выступает треугольник исходных значений: *тянуть(ся), стремить(ся), хватать(ся)*. Они вписаны в круг общей площади языковых значений как смыслонаправления, символизирующие разрабатываемую Липавским *геометрию охватываний*, в которой язык предстает ее исходной (центральной) и конечной (окружность) точкой: сло-

ва «происходят исключительно из охватываний» [7. С. 109]. В трактате «О мировой душе» Ф. Шеллинг согласует понятия центра и окружности в тождестве идеального и реального начал: «Центр есть весь круг, созерцаемый в его идеальности или утверждении, окружность есть весь круг, созерцаемый в его реальности» (Цит. по: [15. С. 473]). Иначе, в терминологии Ф. Шеллинга, энергетический первоисточник языка сравним с понятием абсолютного, о котором философ пишет в лемме к одному из параграфов (§ 70) «Философии искусства»: «Абсолютное объективируется в явлении через три единства, поскольку последние берутся не в своей абсолютности, но в своем относительном различии как потенции и тем самым становятся символом идеи» [15. С. 183]. Выделяемые Липавским исходные значения потенциально присущи каждому родовому элементу (начальному согласному, или «семени слова»), поэтому смысловая симметрия, а priori присутствовавшая в исходных словах, а posteriori – *при* (или *в*) их *вращениях* – должна была нарушаться, причем «нарушение» первоначального параллелизма не означало и не несло в себе никакой негативности. – Напротив, таким образом воплощался принцип избыточности, характеризующий язык в его актуальном и/или действительном *всеохватывающем* осуществлении с миром и человеком.

Если сигнальные системы биологических видов подчинены принципу необходимости и возможные изменения в них могут быть обусловлены (стимулированы) лишь какими-либо существенными переменами, происходящими в естественной для живых существ среде обитания, то человеческий язык производит свою собственную (со-бытийную) реальность, в которой мир (*ontos*) и человек (*gnosis*) встречаются и узнают/различают друг друга. – С перевоплощением значений – из одной проекции в другую – «перевоплощаться приходится самому миру» [8. С. 265]. – «В начале истории значений, истории языка мир стремится быть понятием наподобие и по образу дыхания. Что это значит? Это значит, он расчле-

няется на зыбкие беспредметные среды – стихии» [8. 266]. В трактате «О состояниях жизни» Я.С. Друскин пишет: «Закон дыхания – уничтожение предметности. Знание дыхания – число. Чувство дыхания – мгновение. Мудрость дыхания – задержка. Счастье дыхания – смерть» [4. С. 621]. Дыхание, называемое Друскиным «естественным маятником», измеряющим течение времени в периодичности вдоха и выдоха, наполняет человека жизнью и в триаде тела, души и духа пронизывает ее онтико-онтологическое (триадическое) единство. Поэтому дыхание *не наделяется* Липавским статусом проекции, но задается в качестве исходного пункта, или точки касания *онтического* и *онтологического* начал, поскольку оно есть условие возможности звука, издаваемого голосом, и языка как подачи голоса. Сам человек, подающий голос, тождествен дыханию, или выдоху, преодолевающему сопротивление. Голос же раскрывается в трех рядах признаков, «из которых каждый может стать значением, да еще в различных проекциях различным» [8. С. 270]. Трем рядам признаков голоса соответствуют три «пучка значений», имеющих свои центры; при вращении слов «пучки» разрываются, расщепляя общие значения на несколько (неопределенное множество) частных. Из этих центров исходные значения расходятся и по ним же восстанавливаются (ре-конструируются), образуя в геометрии охватываний фигуры треугольника и круга.

По Анаксимену, наследующему древнее мифологическое представление о «воздухообразности» души, первоначало мира есть «дыхание» (*pneuma*), которое наделяет живые и мыслящие тела способностью к существованию. – «Подобно тому, – говорит он, – как душа наша, будучи воздухом, сдерживает нас, так дыхание и воздух объемлют весь мир» (Цит. по: [11]). В «дышащем» говорении тел и самого языка представление о нем антропоморфизируется: «Мы видим в звуковом и письменном образе тело слова, в мелодии и ритме – душу, в семантике – дух языка. Мы обычно осмысливаем язык из его соответствия сущности человека, представляемой как

animal rationale, т.е. как единство тела-души-духа» [14. С. 203]. В герменевтике концепта «Теории слов» мыслимым и мыслящим оказывается тело самого языка: если тело человека дышит в чередовании вдоха и выдоха, то тело языка – энергия его дыхания – производится и/или мыслится «на выдохе». Материю («твердое тело») языка образуют согласные, чередование/вращение согласных и гласных позволяет слышать его «мелодию и ритм» (и тем самым «почувствовать» его «душу»), треугольник исходных значений предъясвляет смысловое единство языка («передает», «претворяет» его «дух»), но также онто-онтологическую сопричастность и/или взаимопринадлежность мира и человека.

Выстраивая *концепт теории слов* применительно к языку определенной – сформировавшейся – этической общности, т.е. применительно к русскому языку («l-строчное», – по первой согласной фонеме лат. lingua – язык), Липавский одновременно, или параллельно, (ре)конструирует онтолингвистическую модель происхождения человеческого языка в целом («L-прописное»). Обращаясь к проблеме существования праязыка, философ решает – «снимает» – ее концептуально: «Языковеды-индоевропейцы уподобляют развитие языка ветвлению дерева: основной ствол, праязык, дает начало нескольким языкам, которые, в свою очередь, ветвятся вновь и вновь. Яфетисты, наоборот, сравнивают язык как бы с перевернутым деревом: разные языки перекрещиваются, смешиваются, стремятся стать единым языком. И то и другое, конечно, верно при различных исторических обстоятельствах: разделяются люди, разделяется и язык на несколько диалектов, превращающихся со временем в разные языки; объединяются люди, объединяются и диалекты в единый язык, разные языки в общий. Вопрос же о том, был ли один первоначальный язык, давший начало остальным, или было их много, существенного значения не имеет. Ибо если их было и много, возникли-то они по одним и тем же законам первоначальной речи и, следовательно, они были в главных чертах

тождественны. Вопрос, был ли один или много праязыков, так же не важен, как тот, возникла ли система чисел, счета в одном каком-нибудь пункте или сразу во многих. Взаимоотношение между существующими ныне языками и праязыками нагляднее всего представляет такая схема: множество разных треугольников вычерчено на одном и том же основании; площадь и фигура треугольника будут представлять какой-либо современный язык, основание – праязык. Понятно, что для нахождения праязыка не нужно совсем выходить за пределы изучаемого треугольника, переходить в другой или сравнивать его с другими; надо только проникнуть в самую его глубину, дойти до фундамента, до основания» [8. С. 299-300].

В схеме, предлагаемой Липавским, неопределенное множество треугольников вычерчено в косоугольной системе координат, где оси X и Y пересекаются не под прямым углом и координатный угол (φ) не-равен математической константе (π), поделенной надвое ($\varphi \neq \pi_{1/2}$). Иначе человеческие языки не различались бы столь существенно: аналитические языки в лингвистике не противопоставлялись бы синтетическим (и полисинтетическим), агглютинативный строй не противопоставлялся бы флективному и т.д. Если, согласно концепту Липавского, «формообразование слов имеет такие же точные законы, как формообразование кристаллов», то *онтически* языки также сравнимы с кристаллами. Все вместе они образуют своего рода «минеральный агрегат» – *друзу* (горный хрусталь), т.е. группу произвольно сросшихся между собой кристаллов («индивидов»), выросших на общем основании ($L \equiv 1(n)$). *Идеальный* кристалл, являясь математическим объектом, полностью симметричен и имеет – *должен* иметь – ровные гладкие грани, *реальный* же – всегда не лишен различных поверхностных искажений и неровностей, возникающих вследствие специфики условий роста, неоднородности питающей среды, каких-либо повреждений и дефор-

маций. Но несмотря на неидеальную кристаллографию, реальный кристалл сохраняет свое главное свойство – закономерное положение атомов в *кристаллической решетке*. В концепте «Теории слов» такой «кристаллической решеткой» предстает *симметричная таблица исходных элементов*, – согласных, обнажающих родовой элемент, или «семя слова», которое оно наследует из поколения в поколение в различных реализовавшихся и вероятностных вариантах *вращения и кристаллизации*.

Поскольку вопрос о происхождении языка граничит с вопросом о генезисе человека, определенной этнической общности и/или общества в целом в их онтоко-онтологической принадлежности к миру, постольку на него, в терминологии Ж. Лакана, невозможно ответить, оставаясь в пределах опрашиваемого, но также невозможно и *уклониться* от этого вопроса, *избежать* встречи с ним. Тот, кто пытается решить проблему глоттогенеза, застанет себя на границе между невозможностью и необходимостью. «Теория слов» отвечает на вопрос о происхождении языка безотносительно ко времени и месту этого всегда уже произошедшего и одновременно сбывающегося события, а также безотносительно к внешним порядкам причинности (природному либо Божественному началу), но концептуально. Язык, настаивающий на собственной концептуализации *в этом вопросе*, не позволяет мышлению объективировать, концептуализировать себя *целиком*, но – как открытый текст – приглашает мышление пройти, проложить, и/или «пробежать» определенный путь, начало и конец которого совпадают и различаются в тождестве ноля и бесконечности, а смысловая направленность распознается дискурсивно – по ходу набрасывания/развертывания рассуждений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бенвенист Э. Природа языкового знака / Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 90-96.
2. Бушмакина О. Н. Язык и бытие: проблемы структурирования. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2009.
3. Григорьев В. П. Будетлянин. М.: Языки русской культуры, 2000.
4. Друскин Я. С. О состояниях жизни // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чиныари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. Т. 1. С. 618-622.
5. Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом. М.: Издательство «Европа», 2009.
6. Липавский А. С. О преобразованиях // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чиныари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. Т. 1. С. 95-106.
7. Липавский А. С. Последовательности // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чиныари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. Т. 1. С. 106-109.
8. Липавский А. С. Теория слов // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чиныари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. Т. 1. С. 254-320.
9. Мартин Хайдеггер / Карл Ясперс. Переписка 1920-1963 / Перевод с нем. И. Михайлова под редакцией Н. Федоровой. М.: Ad marginem, 2001.

10. Перцова Н. Н. О «звездном языке» Велимира Хлебникова. – Режим доступа: <http://eb.by/ZFL>
11. Рассел Б. История западной философии. – Режим доступа: <http://eb.by/ZFu>
12. Соссюр Ф., де. Курс общей лингвистики. М.: Издательство «Логос», 1998.
13. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. В 3 т. М., 1893-1909. – Режим доступа: <http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=sreznevskij>
14. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 192-220.
15. Шеллинг Ф. Философия искусства. М.: Изд-во «Мысль», 1966.
16. Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский Дом», 2004.
17. Щерба Л. В. Русские гласные в качественном и количественном отношении. С.-Петербург, 1912.
18. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2004.
19. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. СПб.: «Александрия», 2009.
20. Якушин Б. В. Гипотезы о происхождении языка. М.: Наука, 1984.

СЕМИНАР PROXIMA

13 января 2010 г.

**«Звезда бессмыслицы»:
между комментарием и интерпретацией**

Доклад Шадрина А.А.

Присутствовали:

Бушмакина О.Н., Кардинская С.В., Соловей И.В.,
Караваева И.А., Полякова Н.Б., Рогозина Э.Р., Сайтаева Т.И.,
Штайн О.А., Рябов М.А., Яркеев А.В.,
Камашева А.Н., Обухов К.Н.

ШАДРИН: Тему моего выступления я обозначил как *«Звезда бессмыслицы»: между комментарием и интерпретацией*. Собственно, речь идет о чинарях, о философско-литературном содружестве пятерых авторов – двоих философов и троих поэтов. Если попытаться представить это как-то схематически, чтобы было нагляднее, то это философы Л. С. Липавский и Я. С. Друскин (на вертикали) и поэты А. И. Введенский, Д. И. Хармс и Н. М. Олейников (на горизонтали).

БУШМАКИНА: А почему так, почему не звездой?

ШАДРИН: Вот здесь в центре (на пересечении) Олейников не потому, что буква «О» напоминает нолик. Просто это та фигура, которая как бы связывала, по крайней мере, Введенского, Липавского и Хармса. Дело в том, что Олейников был организатором и редактором детских журналов «ЧИЖ» и «ЁЖ», в которых публиковались Введенский, Хармс и Липавский, по-моему, в том числе. Т.е. для них это был способ *выживания*.

БУШМАКИНА: А я бы сделала звездой, и было бы понятно, почему «звезда бессмыслицы». Была бы и звезда, действительно, пятиконечная. И наверно был бы Олейников,

слева/справа – Введенский и Хармс, внизу – как основание – Липавский и Друскин.

ЯРКЕЕВ: А почему такое название?

ШАДРИН: «Горит бессмыслица звезда // она одна без дна, // Вбегает мертвый господин // и молча удаляет время», – это последние строки в поэме Введенского «Кругом возможно Бог». Т.е. почему я (в схеме) обозначил именно так: на горизонтали у нас поэты, на вертикали – философы Липавский и Друскин. Дело в том, что Друскин называет Липавского теоретиком чинарей. Введенский же и Хармс в равной мере испытали влияние и Липавского, и Друскина. Липавским вводятся ключевые понятия «вестники», «соседние миры» и также понятие иероглифа. Собственно говоря, эти пять имен – это и есть соседние миры, которые все неким образом связаны друг с другом и отсылают друг к другу. И основной вопрос – поскольку речь идет о «звезде бессмыслицы» – связан с возможностью интерпретации этих текстов. Т.е. подсказывают ли сами «чинарные» тексты какой-либо способ их интерпретации? Или в этих текстах присутствует нечто, препятствующее, или даже активно противостоящее, реализации такой – интерпретативной, или дискурсивной – возможности их освоения?

БУШМАКИНА: Сопротивление возникает...

ШАДРИН: Да. И прежде всего вот это понятие «звезды бессмыслицы», конечно, относится к Введенскому. Т.е. его тексты в полной мере могут быть выражены через эту метафору. Что касается Хармса, то ситуация здесь несколько сложнее. Т.е. Хармс настолько многогранен и разнопланов, что у него есть тексты действительно как бы бессмысленные, но также есть тексты, что называется, «целиком осмысленные». Это с одной стороны, т.е. возникает понятие бессмыслицы. А с другой – то, что объединяет Введенского и Хармса, в частности, – это, собственно, отказ от *чувства* (в творчестве). Т.е. искусство – в традиционном представлении – основывается на чувстве. Здесь же происходит отказ от чувства.

Но этот отказ он как бы условен в том плане, что чувства здесь возникают, но уже на принципиально ином уровне. Т.е. это «эмоции» несколько иные. У Введенского это ярко выражено в его последних вещах. – Это «Элегия», в частности, и «Где. Когда». У Хармса – это также самые поздние тексты. Но эмоции здесь они как бы такого плана, что, с одной стороны, если мы берем Введенского, то здесь действительно речь идет о *возвышенном*, и это связано с темой смерти. А у Хармса в его последних вещах, которые просто невозможно читать без чувства отвращения, речь идет наоборот о *низменном* («Когда я вижу человека...», «Реабилитация»). Соответственно, возникают крайние точки: возвышенное/низменное. Если брать Введенского, то здесь отчетливо прослеживаются три темы, которые его интересовали, увлекали и были для него основными. Это *время, смерть* и *Бог*. Возвращаясь к понятию бессмыслицы... Здесь возникает вопрос о том, действительно ли эти тексты являются бессмысленными, или это не совсем так. Т.е. я размышлял на эту тему и пришел к мысли о том, что *не имеет никакого смысла писать действительно бессмысленный текст*. Это не только не имеет никакого смысла – это *невозможно*.

БУШМАКИНА: Но, по-моему, Друскин говорит о том, что бессмысленно искать смысл в бессмысленных текстах.

ШАДРИН: Да-да, это еще большая бессмыслица.

БУШМАКИНА: Да, это еще большая бессмыслица. Но, следовательно, бессмысленные тексты *не имеют* никакого смысла, по мнению чинарей.

ШАДРИН: Нет, там речь идет несколько о другом. Я хотел сказать, что *действительно бессмысленное письмо противоречит акту творчества*.

БУШМАКИНА: Или *разрешает* акт творчества... Вот, непонятно...

ШАДРИН: Но это как бы полбеда. – Т.е. вот эта мысль о том, что писать действительно бессмысленные тек-

сты не имеет никакого смысла, а кроме того – это невозможно. Это не то что бы пытаться сочетать неприятное с бесполезным, – это просто невозможно (писать действительно бессмысленный текст). Подчеркиваю: в акте творчества. Но это полбеды... Дело в том, что *невозможно писать и действительно осмысленный текст*. – Это *также* противоречит акту творчества.

БУШМАКИНА: Но как быть с автоматическим письмом?

ШАДРИН: Вот, поэтому Друскин и отмечает в этой связи: «Стихи Введенского и Хармса не имеют ничего общего ни с «литературой подсознания», ни с сюрреализмом; не было никакой «игры с бессмыслицей». Бессмыслица, или, как писал Введенский в 1931 г., «звезда бессмыслицы», была приемом познания жизни, то есть гносеологически-поэтическим приемом» [Друскин Я. С. Чинари // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин. В 2 т. М., 1998. С. 46-64.]

КАРДИНСКАЯ: Т.е. бессмыслица – это прием?

ШАДРИН: Это такой «прием», где само письмо оказывается точкой расхождения *gnosis'a* и *roesis'a*. Опять же: по какой причине невозможно писать действительно осмысленный текст? – Возникает прямая отсылка к Делезу (в отношении смысла). Смысл сохраняет собственное присутствие лишь в силу присущей ему *неопределенности*, или *нейтральности*. Но нейтральность смысла одновременно указывает на его сверх-бытийность. – Вот эта «звезда бессмыслицы» (в ее сверх-бытийности)... Т.е. смысл, по Делезу, *световодозвуконепроницаем*, он ни активен, ни пассивен, бесполезен и т.д. Но если мы сопоставим эти определения с текстами Введенского, в частности, то получим полное тождество смысла и бессмыслицы. – Эти тексты так же *световодозвуконепроницаемы*. Что касается литературоведческих попыток анализа этих текстов,

то по Хармсу интересные работы *есть*, в случае же Введенского – почти ничего. И здесь мы можем обратиться к Ф. Шлейермахеру, как основоположнику современной филологической герменевтики, и его ключевым понятиям. Истолкование текста, по Шлейермахеру, как бы движется в двух противоположных направлениях. С одной стороны, это грамматическая ветвь, с другой стороны – психологическая. Т.е. для того чтобы понять тот или иной текст, мы должны двигаться одновременно в двух направлениях. Но как отмечает сам Шлейермахер, обе эти ветви расходятся в бесконечность. Поскольку в одном случае (грамматическая ветвь) мы должны обладать абсолютным знанием языка, а в другом (психологическая ветвь) – полным знанием человека. Но и опять же, как замечает сам Шлейермахер, как только мы пытаемся истолковать тот или иной текст, опираясь, или ссылаясь, на какие-то факты в биографии автора, мы тут же пускаемся в погоню за анекдотами. Ну, все мы знаем анекдоты (анекдоты) Хармса о Пушкине и т.д. Причем сверхзадачей здесь оказывается такое понимание смысла текста, которое превосходило бы авторское, что также невозможно (в принципе). Т.е. с одной стороны у нас как бы будет комментарий (психологическая ветвь), а с другой (грамматическая ветвь) – интерпретация. Но если мы берем тексты чинарей, и в частности, тексты того же Введенского, то обе эти ветви просто-напросто нивелируются, или перечеркиваются. Поскольку никакой комментарий здесь ровным счетом ничего не добавляет к тексту (не может добавить). Что касается абсолютного знания языка, то Введенский продельывает с языком такое, что надобность в абсолютном знании языка тоже отпадает. Т.е. что остается? – Остается сам текст, который мы можем (калькируя известный термин Жижека) определить либо как «предположительно бессмысленный», либо как «предположительно осмысленный».

БУШМАКИНА: Но текст по определению не может быть бессмысленным, – по определению текста.

ШАДРИН: Вот об этом чуть позже... Т.е. у нас два варианта. Если мы берем традиционную ветвь – традиционную не только для Ф. Шлейермахера, но и для М. Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера, – то получаем следующее. Здесь возникает тождество текста и интерпретации, что возможно лишь благодаря утверждению презумпции смысла. Т.е. текст как целое является таковым лишь в той мере, в какой мы утверждаем, что он обладает неким смыслом. У Хайдеггера в этой связи возникает понятие пред-понимания, у Гадамера, соответственно, – понятие пред-рассудка. Т.е. мы утверждаем либо презумпцию *присутствия* смысла, либо презумпцию его *отсутствия*. Вот здесь как раз у Введенского и у чинарей в целом возникает понятие *непонимания*. Как говорит Друскин, Введенский сказал бы: цель заключается в том, чтобы *не понять непонятное как непонятное*. И, собственно, сами его тексты и выражают вот это вот *непонимание непонятного как непонятного*.

БУШМАКИНА: Т.е. если в герменевтике утверждается круг *понимания*, то здесь – круг *непонимания*.

ШАДРИН: Да! Круг непонимания.

БУШМАКИНА: Тогда там – круг *бытия*, а тут что – круг *небытия*? Что тут будет?

ШАДРИН: Это не будет круг *небытия*, поскольку здесь, на мой взгляд, всё, что происходит, происходит между «действительно бессмысленным» письмом и письмом «действительно осмысленным». Т.е. непонимание здесь является *способом*. Возникает вопрос: это способ *чего*? Вот опять же, это тождество $A \equiv \text{не-}A$. – В случае непонимания, или в случае действительной бессмыслицы, собственно «бессмыслица» оказывается предельным именем смысла.

БУШМАКИНА: Это понятно, да. Значит, смысл у нас располагается между пониманием и непониманием. При этом здесь у нас понимание идет всегда в точке тождества бытия и мышления, а с противоположной стороны возника-

ет тождество не-бытия и не-мышления (причем здесь не-мышление – не обязательно немислимое). Т.е. у нас смысл как бы располагается *между*. И тогда получается так: смысл у нас *процессуален*. Если бы мы ограничивались только вот этой линией (бытие \equiv мышление), у нас вообще познания бы *не было*, потому что бытие и мышление здесь *совпадают*. Разрыва между ними нет, – они тождественны. Тогда не нужно никакого *усилия* понимания, потому что понимание должно от нас требовать *усилия*. Но здесь никакого усилия нет, – ничто не сопротивляется. С этой стороны (не-бытие \equiv не-мышление) у нас тоже никакого усилия нет: они – не-мышление и не-бытие – тоже совпадают. Пожалуйста: состояние нирваны, например... Все хорошо, все отлично, все совпало... где не-бытие и не-мышление, собственно, одно и то же. Но если мне не изменяет память, чинари где-то говорят о том, что повседневность, повседневное существование связано с *не-мышлением*.

ШАДРИН: Автоматизм существования...

БУШМАКИНА: Да. Т.е. там язык *есть*, но этот язык не требует вообще никаких смыслов и никакого мышления. Там все есть так, как оно есть. И в этом смысле **всё есть язык**. Но тогда **любая вещь есть слово**. Но это такое слово, которое *не отделено* от самой вещи, потому что **сама вещь и есть это слово**. Т.е. буквально в своем существовании вещь *словесна*. И она всегда высказывает только одно, т.е. *саму себя*. Здесь вещь представляет саму себя, и в предоставлении самой себя она саму себя всю *выказывая показывает и сказывает*.

КАРДИНСКАЯ: Т.е. язык-объект?

БУШМАКИНА: Но не язык-объект в смысле Ф. де Соссюра. А это вот всё, что есть, это **окаменевший язык**, где всё *высказано*. И высказано так, что больше ничто высказаться не может.

РОГОЗИНА: Т.е. у всего есть свое имя?

БУШМАКИНА: Это даже не имя... Это вот это присутствие, которое высказано и выказано *всё*.

СОЛОВЕЙ: Высказанное полностью, сказанное – это и есть вещи. Т.е. мы живем именно в словах как в вещах, и в вещах – как в словах.

БУШМАКИНА: Да. Т.е. это всё, что нас окружает. Мы говорим просто о *прямой фактичности*, где не обязательно, что вещь имеет имя. Здесь речи не идет о соотношении вещи и имени. А речь идет только о том, что сама вещь есть так, как она есть, и в том, как она есть, она саму себя всю выказывает. И предъявляя себя так, вещь оказывается как бы тем *полным словом*, которое говорит *всё сразу*. Т.е. оно говорит эту вещь (как бы) и является словом: **вещь как слово**. И, соответственно, у нас получается так, что вот это слово – это, собственно, *абрис* вещи, условно говоря, ее очертание. Это ее «графос», или письмо. Это слово, которое одновременно есть письмо. Это слово без речи. Вот поэтому там (у чинарей) говорится о шумах и прочем...

ЯРКЕЕВ: Письмо вещами как бы...

БУШМАКИНА: Да. И поэтому каждая вещь – это еще и знак (сама являет собою знак). Никакого другого знака она как бы не требует: она сама есть этот выраженный знак. И соответственно этот «графос» и есть *иероглиф*. Это тот иероглиф, который себя вот так предъявляет, но он в себе не содержит ничего, кроме самого себя, т.е. ни к чему не отсылает: он *сам в себе*. Т.е. его написание есть существование вот этой вещи, *начертание* этой вещи как она есть, как она присутствует – без всякой отсылки к чему бы то ни было. И так каждая вещь есть вот эта **сама к себе отсылающая вещь**. Почему, собственно, получается уход от слова к иероглифу? – Потому что иероглиф отсылает только к самому себе. Т.е. здесь вещь, как вещь, есть вот этот иероглиф. И поскольку здесь он отсылает только к самому себе, он как бы *замкнут*.

ШАДРИН: Т.е. здесь прослеживается мысль Бодрийера о том, что *нас всегда очаровывает то, что своей логикой и своим внутренним совершенством полностью исключает нас*.

БУШМАКИНА: Да, совершенно верно. И поэтому эта замкнутость говорит о том, что в иероглифе может быть **всё**, но в равной степени в нем может не быть **ничего**. Таким образом, из этой замкнутости выводятся *два* следствия. Т.е. эта замкнутость указывает на то, что любая вещь – ввиду ее самодостаточности – может быть обозначена как *мир*. И поэтому этих миров *много*.

ШАДРИН: Иероглиф как предел символизации...

БУШМАКИНА: Да, конечно. Здесь все время, на самом деле, речь идет о пределах. Но главное заключается в том, что, как мне кажется, чинари пытаются нащупать вот эту грань перехода к языку – понять, как, собственно говоря, появляется язык. Т.е. у них как бы получается говорение *до-языковое* или *пост-языковое*, когда языка *еще нет* или его *уже нет*. Т.е. они пытаются прощупать, каким образом язык существует на собственном пределе. И вот возникает понятие этого мира, и этих миров много...

ШАДРИН: Бесконечное множество...

БУШМАКИНА: Да, бесконечное множество. Они потому и миры, что друг с другом *не связаны*. Т.е. это такое условие, что мир – это то, что не связано ни с чем другим. Т.е. всё, что есть, как оно есть в своей самодостаточности, не требует связи ни с чем другим. Т.е. здесь утверждается принцип бессвязности. Бессвязность – это условие существования этих миров.

ШАДРИН: Бессвязность она же как бы бессмыслица...

БУШМАКИНА: Бессмыслицу, мне кажется, чинари проверяют *разными* способами. Они рвут связи...

ШАДРИН: Т.е. «бессмыслица» Хармса и «бессмыслица» Введенского – это две разные бессмыслицы...

БУШМАКИНА: Это разные способы организации бессмыслицы, разные способы ее проявления.

КАРАВАЕВА: И разные миры...

БУШМАКИНА: Да, и разные миры!

ШАДРИН: Но соседние!

БУШМАКИНА: Да. Вопрос в том – поскольку каждая из этих вещей составляет свой мир, – какой это мир: полный или пустой?

ШАДРИН: Т.е. это опять же как бы пределы символизации субъективности...

БУШМАКИНА: Да, потому что здесь речь все время идет, на самом деле, об играх мышления, или об играх субъективности. Мир как *пустой* – это, собственно, вещь-как-она-есть, взятая относительно самой себя без всякого представления о том, существует ли какой-либо принцип ее существования, или организации.

ШАДРИН: Т.е. это как бы «вещь-в-себе»...

БУШМАКИНА: Да, это то, как вещь *есть*.

КАРДИНСКАЯ: Сама по себе...

БУШМАКИНА: Да, сама по себе. Пожалуй, что так. Т.е. здесь не идет речи о какой-то, условно говоря, жизни вещи, – это как бы *безжизненная* вещь. А могут быть еще как бы *живые* вещи. Пустые – безжизненные вещи – это вещи-как-они-есть, и они представляют собой не что иное как некий окаменевший язык. Но это такой язык, который утратил все значения. Либо у этой вещи есть только *одно* значение – никакого другого значения она не имеет. Т.е. это полная неподвижность (этого значения). Эта вещь пуста в том смысле, что она выказывает себя *всю*. И всё ее выказывание строится по ее абрису, по поверхности, а внутри она ничего не содержит.

КАРДИНСКАЯ: Плоская вещь...

БУШМАКИНА: Она не плоская, она может быть внутри и глубокая, но дело все в том, что она *пустая*.

ШАДРИН: Это связано с ее (не)четко определенным значением...

БУШМАКИНА: Да, но все это значение выражено «графосом». Т.е. больше там ничего нет. Это как бы *чистый* знак, условно скажем. – *Чистый* знак, который есть только *знак*, или иероглиф. Вот он *написан*, и всё. Не надо требовать

от него чего-то еще. Вот он есть так, как он есть. И в этом отношении то, как мы существуем среди множества вещей, которые для нас привычны, – это и есть существование в окаменевшем языке. Эти вещи как бы к нам не обращаются, они от нас ничего не требуют. Но и мы их воспринимаем как *данность*. И отсюда получается так, что эти вещи *не говорят*.

СОЛОВЕЙ: Напоминает монаду Лейбница.

БУШМАКИНА: Да, это скорее монада Лейбница. Но все дело в том, что даже если эта монада и издает какой-то звук, этот звук *никому не понятен*. Т.е. даже если мы его слышим, это звук ни для кого ничего не значит. Он значим только для самой вещи, но и для самой вещи – это *единственный* звук, на котором она *что-то* говорит. Это единственный звук, который она может издать. И поэтому множество вещей может быть понято как *какофония* звуков. Эти звуки агармоничны, они не согласованы, не связаны. И поэтому они все как бы *звучат*, но это звучание *не есть* речь. Это, условно скажем так, *пустая речь*, потому что эти звуки бессмысленны. Ну, это всё равно что если бы мы взяли и написали ноту. Понятно, что она может звучать. Но так и каждая вещь звучит, но *что значит* этот звук?

ЯРКЕЕВ: Да ничего, ровным счетом...

БУШМАКИНА: Звук – и звук... И поэтому даже когда этот мир вот этого окаменевшего языка с пустой речью как бы *оживет*, т.е. мы его зададим во времени (тут-то понятно, что вечность), появится просто поток бессвязных звуков, шорохов, всего, чего угодно. У Ж. Лакана, помните, случай судьбы Шрёдера? Который воспринимал свое тело через отверстия, через которые всегда что-то втекает, вытекает и прочее. Т.е. это как бы неопределенный поток, и возникают метафоры: жижа, грязь, хлюпающее, чавкающее и т.д. Но это то, что, собственно говоря, представляет собой *нижний* уровень жизни, это *плазма*.

КАРДИНСКАЯ: Некая неорганизованность...

БУШМАКИНА: Она *неопределенная*. Это то, что можно чем-то как бы *назвать*, но само это название, *именование* еще ничего там не определяет. – Бесструктурность, *чистая бесструктурность*.

ШАДРИН: По-моему, это необязательно хлюпанье и чавканье. – Чистый поток звуков, если мы возьмем самые ранние тексты чинарей...

БУШМАКИНА: Ну да, и это тоже. Но они пишут и об этом хлюпанье, чавканье и прочем. Вот это то, что как бы пузырится, бурлит, процессы какие-то происходят. Но *что* это, *к чему* это? Т.е. здесь нет ни цели, ни направления. – Здесь нет ничего, есть просто как бы вот это сплошное кипение. Это то, о чем чинари говорят как о биоплазме. Так вот, если мы зададим сюда, добавим к этому окаменевшему языку *время*, то это и превратится вот в этот нижний уровень организации жизни, т.е. того, что мы называем жизнью: биоплазма. Но эта биоплазма еще *не жизнь*, но она уже и не окаменевшее, не мертвое.

КАРДИНСКАЯ: Прото-жизнь...

БУШМАКИНА: Да, вот что-то такое. Но то же самое, говорят они, мы можем наблюдать и в организмах *распадающихся*, в трупах. Т.е. это некая точка, как граница между живым и неживым.

ШАДРИН: У Липавского об этом речь идет. Это *соседние миры*. Допустим, говорит он, представим себе мир исключительно температурный.

БУШМАКИНА: Ну да, это по качеству, это уже через Лейбница. Вот здесь эта биоплазма – это как бы некая точка, которая *неопределенна*. Мы не можем определить ее точно ни как живую, ни как неживую. Это какое-то третье состояние, которое неопределимо. Но она – эта точка – располагается между живым и неживым.

ШАДРИН: Она в движении...

БУШМАКИНА: Да, поскольку она в движении, движется, значит это нечто вроде как бы живое. С другой стороны, это движение вот такое вот...

ШАДРИН: Механическое...

БУШМАКИНА: Да, оно может быть каким угодно, – и механическим в том числе. Самое главное, что там что-то как-то движется. Это некое смешение, перемешивание.

Ш.А.А: Сгущение...

БУШМАКИНА: Да-да, сгущение, разряжение и т.д.

ШАДРИН: Это концепт Липавского.

БУШМАКИНА: Вот, что-то такое происходит. В результате, все это как бы *дышит*, условно говоря. Собственно, всё это применяется – это просто вот такая метафора – к языку. Метафора вся эта применяется к языку. Мы должны посмотреть, какие есть связи в языке, и что произойдет, если эти связи будут рваться. А оказывается, что порвать эти связи *просто* (до удивления просто). Поскольку именно язык задает нам структурированный мир, он сам является таковым, т.е. структурированным миром.

ШАДРИН: А деструктурировать его можно по-разному, т.е. разными способами.

БУШМАКИНА: Да.

ШАДРИН: И количество способов здесь бесконечно.

БУШМАКИНА: Да. И вот на мой взгляд, Алексей, ты совершенно прав, когда говоришь о том, что здесь какие-то пределы методологии. Да, я думаю, что здесь нащупываются пределы *методологии*. – В работе с языком, со словом.

ШАДРИН: Собственно, этим и ценны эти тексты.

БУШМАКИНА: Да, совершенно верно. Да, в этом, собственно, их смысл и значение. Т.е. как мы работаем с языком с тем, чтобы показать его как биомассу? Его надо сделать как бы биомассой, условно говоря, или спустить на уровень биомассы. Т.е. для чего нам уровень биомассы? – Вот окаменели вещи, закаменело всё, но этого мало. Мы омертвели

язык, объективировали его, а теперь надо сделать так, чтобы там что-то *началось*. Надо чтобы там началось движение. Вопрос в том, *как* оно может там начаться, и что там может происходить при этом.

КАРДИНСКАЯ: Столкновение атомов случайное...

БУШМАКИНА: Как мы можем это сделать?

КАРАВАЕВА: Через удаление смысла.

БУШМАКИНА: Да, через то, как мы рвем связи.

Вот, чинари используют разные способы разрывов.

ШАДРИН: Там у нас были две ветви логические: неживые и живые вещи. Что будут представлять собой живые вещи?

БУШМАКИНА: А вот живые вещи – это как раз *вестники*. Это такие соседние миры, которые являются вестниками. Т.е. это миры, которые мы предполагаем *мыслящими*, собственно говоря, мирами, *полными* мирами – мирами, полными *смысла*.

ШАДРИН: Самодостаточными – в этом смысле – мирами.

БУШМАКИНА: Да. Но это такие самодостаточные миры, которые действительно обладают автономией языка. Но язык там будет *разный*. И вот поэтому язык Хармса будет отличаться от языка Введенского, и в этом нет никаких противоречий. Просто способы организации этих миров *различны*. Они различны по способу разрывания смысла, разрывания связей. Каждый из них образует мир бессмыслицы, но своим способом. Поэтому возникает «звезда бессмыслицы». Но это чисто метафорические вещи. Т.е. что, собственно говоря, меня *поразило*. Вот посмотрите, что делает, допустим, Хайдеггер в Dasein-анализе. Это ведь тоже работа со словом. Что делает Хайдеггер? – Он как бы *префыкает* слово, т.е. *делит* слово на части. Но делит слово на части с тем, чтобы открыть *новый* смысл в этом слове. Что делают чинари? – На мой взгляд, они берут язык, *весь* язык, и начинают работать со *всем* языком, – *с целым*. И показывают, что не обязательно

разнимать язык, хотя мы можем дойти в разъятии до звуков, до слогов. Более того, поскольку там звук уже и *не звучит*, т.е. слоги могут не звучать, их нельзя прочесть. – Язык запинается, сопротивляется, поскольку мы не можем это проговорить.

ШАДРИН: Эта стадия в русском авангарде уже как бы пройдена.

БУШМАКИНА: Она пройдена.

ШАДРИН: И поэтому неинтересна.

БУШМАКИНА: Да. На мой взгляд, интересны тут вот эти эксперименты с языком. Это всё эксперименты, а эксперименты – это метод, метод анализа. И, значит, как метод анализа – это безусловно рефлексия.

ШАДРИН: Но мы не можем разорвать все связи сразу.

БУШМАКИНА: Вот, у меня в руке лежит яблоко, яблоко – это *мир*. Но это такой мир, который есть так, как он есть. Я протыкаю яблоко иглой...

ШАДРИН: Это у Липавского в «Исследовании ужаса».

БУШМАКИНА: У Липавского, да. Я протыкаю яблоко иглой, – такого мира *нет*. Теперь *появился*. Это *другой* мир. *Что* он хочет сказать мне? Новое отношение – новая связь, новый мир. Помните ведь модель у Хайдеггера? – Там круг бытия, как присутствия, имеет *зазор*, он имеет щель вот этой открытости, через что, собственно говоря, проходит экзистенция. И всё – и больше не надо ничего, оно *само* уже так есть, оно *само* так работает. А здесь яблоко, как мир, оно *замкнуто*. И оно ничего не говорит, кроме того, что оно есть, как оно есть, как яблоко. И этот мир как бы оказывается *закрытым* и вместе с тем *пустым*. Но надо что-то делать для того, чтобы этот мир...

КАРДИНСКАЯ: Раскрылся...

БУШМАКИНА: Да. И поэтому требуется что-то такое, что как бы должно *вмешиваться* в этот мир. Но как вмешиваться-то? – Тут должен быть какой-то метод.

КАРДИНСКАЯ: *Насилие* над миром надо совершить...

БУШМАКИНА: Вот, я тоже сначала подумала: ну а как? – Это что, трансценденция? Т.е. акт вмешательства извне вовнутрь? Нет, это не так! Просто потому, что у нас есть яблоко и *мир* яблока, есть игла и мир иглы. Если мы два мира *пересечем* (мы их пересекаем), то на пересечении этих миров возникает *третий* мир, который нам говорит что-то *такое*, чего не говорили ни яблоко, ни игла. Т.е. это какой-то метод *пересечения*, как *воображаемое*. – Вот, это *воображаемый мир*, т.е. некая конструкция, где конструируется то, чего *не было*, но что ведь *может* быть. Они – эти миры – могут пересекаться? – Да. А раз они могут пересекаться, почему бы их не пересечь. И когда они пересекутся, появится нечто третье. И это третье говорит о себе самом, говорит о яблоке и говорит о игле.

КАРДИНСКАЯ: Но ведь они никогда не пересекутся сами.

БУШМАКИНА: Правильно, они никогда не пересекутся сами. Потому что если бы они пересекались *сами*, мы бы просто получили этот же мир.

СОЛОВЕЙ: Окаменевший.

БУШМАКИНА: Да-да, который там уже есть.

КАРДИНСКАЯ: Но в таком случае это всё равно вмешательство.

БУШМАКИНА: Это не вмешательство. – В том смысле, что и игла, и яблоко *могут* пересекаться. Они *могут* пересечься, исходя из того, что они таковы, каковы они есть. Но у нас *нет* мира, где были бы яблоки, проткнутые иглами.

СОЛОВЕЙ: Но мы можем помыслить этот мир.

БУШМАКИНА: Совершенно верно!

ЯРКЕЕВ: Это то, что сейчас называется кентаврстикой.

БУШМАКИНА: Совершенно верно! Правильно, об этом речь и идет. И мы всё это перекладываем на язык. И то-

гда у нас происходит следующее. Язык яблока – это язык яблока, язык иглы – это язык иглы. Но ввиду того, что то и другое – *языки*, они могут, как *языки*, некоторым образом пересекаться. *Как* они пересекутся? – Они как-то пересекутся. *Что* будет на этом пересечении? – Никто не знает, потому что никто их не пересекал. – Их надо *пересечь*. Они должны некоторым образом взаимно проникнуть друг в друга. И появится *третий* мир. Конечно, это мир воображаемый, или конструированный мир. Но отсюда не следует, что он невозможен. – Он возможен. И он возможен *не насильственно*, а достаточно естественно. – Ввиду того, что *есть такие языки*: есть язык яблока, и есть язык иглы.

ШАДРИН: Соответственно, если мы обратимся к понятию фрагмента, то мир вестников – это целостный мир, а воображаемый мир фрагментарен.

БУШМАКИНА: Да. Тогда яблоко без иглы – это фрагмент (по отношению к яблоку с иглой), и игла без яблока – это только фрагмент яблока с иглой. Да, именно так. Т.е. здесь возникает некая как бы методология новая, с которой они пытаются работать. И начинает возникать то, что кажется бессмысленным. Т.е. мы начинаем пересекать такие миры, которые просто никогда не пересекались. Но пересечь их *возможно*, причем *разными* способами. Ввиду того, что язык – это то, что задает *структуру*. А структура бывает какая? – Пространственная и временная. Соответственно, мы можем начинать пересекать пространства, пересекать времена. Но для того, чтобы это сделать, мы должны показать, как можно снимать причинно-следственные связи в языке. Потому что всё, что мы считаем причинно-следственно обусловленным, является всего лишь калькой нашего языка. Т.е. потому что *язык* строится так. Вот эти фразы: если/то, например.

ЯРКЕЕВ: Тогда/когда.

ШАДРИН: Поскольку/постольку.

БУШМАКИНА: Совершенно верно! Т.е. мы говорим: «если А, то В». Но если мы учтем, что А и В могут быть

какими угодно, то может быть *всё, что угодно*. Например, мы можем сказать: «если день, то ночь». А если мы сделаем что-нибудь другое? Т.е., допустим, мы скажем: «если день, то крокодиль». – Мы тем самым построим высказывание по правилам нашего же языка. Но мы дадим языку чуть большую свободу, обнаружив в нем заменяемую фрагментарность.

ШАДРИН: У Введенского «день» рифмуется с «пень»: «Будем думать в ясный день // сев на камень и на пень».

БУШМАКИНА: Да. Более того, у чинарей я обнаружила то, чего я не ожидала, и это меня поразило *бесконечно!* – У нас есть вопросительное предложение, у нас есть слово вопросительное, и за ним должен последовать знак вопроса. Но как только мы снимаем знак вопроса, предложение *вообще* может быть абсолютно бессмысленным.

ШАДРИН: У Введенского: «Тут нет птиц. Есть ли тут птицы.».

БУШМАКИНА: Вот это и есть работа с языком. Есть масса таких предложений, оказывается. – Когда мы снимаем вопросительный знак, предложение – в таком виде – нас просто *ошеломляет*. Т.е. оно начинает для нас выглядеть совершенно *иначе*. Хотя написано то же самое – не хватает только одного знака. Т.е. это говорит о том, что мы пытаемся теперь вот эти, собственно говоря, *условия* – связи и правила – языка пробовать на прочность.

ШАДРИН: У Введенского: «Я испытывал слово на огне и на стуже...». В отношении «Тут нет птиц. Есть ли тут птицы.»: тут двойная инверсия. Во-первых, убран знак вопроса, а во-вторых, вопрос и ответ поменяны местами. Что касается «если А, то В», то здесь очень любопытная вещь. – Здесь же рифма у Введенского: «Будем думать в ясный день // сев на камень и на пень». Он говорит о том, что когда у него возникают две рифмы (почему, собственно, речь идет о разрушении, или о бессмыслице), когда возникают два варианта рифмы – плохая и хорошая, – он всегда выбирает плохую.

БУШМАКИНА: Да. Это как раз те способы, которыми язык проверяется на прочность. Мы пользуемся языком активно и не задумываясь, т.е. не рефлексировав, и он кажется нам незыблемым, потому что таков мир для нас (каков наш язык), а этот мир кажется нам совершенно устоявшимся, окаменевшим. Но что произойдет *с нами*, если мы тронем язык? Что произойдет с нашими представлениями о мире, когда мы тронем язык? Мы *чуть-чуть* его тронем хотя бы... Что, собственно, останется от языка? Помните, как у Агамбена? – Что останется от человека, если мы будем снимать с него защитные оболочки?

ШАДРИН: У меня тоже возникала эта метафора по отношению к текстам чинарей.

БУШМАКИНА: Да, здесь тоже как бы снимаются все время какие-то защитные оболочки языка, снимаются покровы языка. Т.е. что от него останется? И вот вам пожалуйста, что получается: вроде бы связь какая-то есть, слова в предложении все поставлены. Но какая она, эта связь? – Эта связь вообще не имеет никакого смысла.

КАРДИНСКАЯ: Бессвязная связь.

БУШМАКИНА: Да, это бессвязная связь. Совершенно верно!

КАРДИНСКАЯ: Бессмысленный смысл.

БУШМАКИНА: Бессмысленный смысл, да.

ШАДРИН: Вот, это как раз то, что *между*.

БУШМАКИНА: Совершенно верно! Т.е. смысл у нас все время как бы *переопределяется*.

ШАДРИН: Мерцает.

БУШМАКИНА: Да, мерцание смысла возникает.

ШАДРИН: Мерцание смысла в пространстве текста.

БУШМАКИНА: Да. И вот мне кажется, что чинари как раз оказываются *между* герменевтикой смысла и философией бессмыслицы. И они делают *больше*: и там, и там. Потому что они бьют-то прямо *в точку*, они бьют в язык. Они работают только с языком.

ШАДРИН: Вот, невозможно писать *действительно бесмысленно* и невозможно писать *собственно осмысленно*. Невозможно ни то, ни другое.

КАРДИНСКАЯ: Форма-то остается...

БУШМАКИНА: Да! И вот та схема, которую ты, Алексей, нарисовал, мне очень понравилась. Вот это: между gnosis'ом и roesis'ом.

ШАДРИН: Вот в этой срединной точке – между gnosis'ом и roesis'ом – возникает Логос, обретший плоть. Об этом пишет Друскин.

БУШМАКИНА: Да, это Логос, обретший плоть *с какой-то стороны*. Я не знаю, с какой. На самом деле, это может быть и *алогическая логичность*, которая – как алогическая логичность – конечно же прежде всего предьявляется в roesis'e.

ШАДРИН: А с другой стороны – как *логичность* – в gnosis'e.

БУШМАКИНА: Да, в gnosis'e. Т.е. она *двойка* как бы. Т.е. вот здесь – в срединной точке – нужен этот третий конструктор, который нам вот этот gnosis и roesis будет соединять. Вот здесь пределы метода и будут определяться. Т.е. предел метода в *познании* будет упираться в поэзию (roesis), в *метафору*. А здесь – с другой стороны – для поэзии где-то будет наступать предел (этой ее метафоричности), и она пойдет сюда – в gnosis. Не знаю, – может быть это будет метонимия. Я не знаю, *что* это будет. Но понятно, что метафора – это первое, что сразу будет выступать со стороны roesis'a.

ЯРКЕЕВ: Т.е. когда метафора становится окаменелой, она превращается в метонимию.

БУШМАКИНА: Да, в gnosis, в метонимию.

ШАДРИН: Т.е. это то, что раскрывается в месте размежевания gnosis'a и roesis'a, когда мыслимое и проговариваемое/прописываемое распределяют между собой действие смысла (казалось бы) до полного исчерпания последнего.

БУШМАКИНА: Да! Об этом речь и идет. Когда метафора перестает быть метафорой. Вот она *окаменеет* в языке и уже воспринимается как нечто *данное*. Т.е. никто же не задумывается про носик чайника (что это метафора).

ЯРКЕЕВ: Или про «дождь идет».

БУШМАКИНА: Да, или про «дождь идет». Но всё это из roesis'a поступает сюда – в gnosis. Мы начинаем *познавать* через вот эти окаменевшие метафоры. И *другим* мир не способен даваться нам. – Нам по-другому он не дается просто. Что мы пытаемся делать здесь, т.е. когда на пределе – в gnosis'e – возникает *непонимание*? Вот здесь – на стороне roesis'a – понимание а-логичное, т.е. логика не требуется (мы здесь а-логично понимаем). И вот здесь – в месте размежевания gnosis'a и roesis'a (когда у нас возникает непонимание) – мы начинаем думать, *почему* мы не понимаем. Но когда мы начинаем *думать*, мы обнаруживаем, что наше непонимание связано с вот этими окаменевшими метафорами (сторона roesis'a), которые стали привычными и которые требуется, собственно говоря, разрушить.

КАРДИНСКАЯ: Они в поэзии как бы размягчаются...

БУШМАКИНА: Да. Они в поэзии *подвижны*. Потому что поэзия – это субъективность (по Шеллингу). Поэзия – это лирика, это выражение *внутреннего* состояния. Т.е. это некая субъективность.

КАРДИНСКАЯ: У Льюиса Кэрролла примерно то же: «Варкалось. Хливкие шорьки // Пырлялись по наве, // И хрюкотали зелюки, // Как мюмзики в мове...».

БУШМАКИНА: Да, вот эти вещи языковые. Что-то срабатывает, какие-то метафоры там работают (непонятно, на каком уровне).

КАРДИНСКАЯ: И всё же понятно так...

БУШМАКИНА: И вроде как бы всё понятно...

ШАДРИН: Нет, у чинарей всё гораздо интереснее, по-моему.

БУШМАКИНА: Да, у чинарей интереснее.

ШАДРИН: Поэтому Введенский говорит о том, что он *произвел критику разума, более радикальную, чем Кант.*

БУШМАКИНА: Да, согласна абсолютно. Это так и есть. Не помню, у кого из чинарей я это встречала: мысль о том, что необходимо всё приводить к парадоксу. Т.е. надо проявлять парадоксальность языка.

ШАДРИН: Вот у меня здесь набросано в тексте... Жертвуй смыслом, приходится жертвовать тем, с чем он неразрывно связан и во что изначально вписан, – приходится жертвовать словом, или *языком.*

БУШМАКИНА: Да, но это значит, что мы переходим к новому языку. Вот, от языка яблока и языка иглы мы переходим к языку, где яблоко и игла пересекаются. И получается, что параллельные-то на бесконечности *пересекаются.* Т.е. вот это пересечение яблока и иглы – это на *бесконечности.*

КАРДИНСКАЯ: Вот, вопрос про воображаемый мир: а можно ли вообразить всё, что угодно, или есть пределы?

БУШМАКИНА: Есть пределы. Пределы эти связаны с тем, что, на самом деле, мы можем воображать только из того, что у нас *есть.* Мы можем конструировать только из того, что у нас есть. Дело вот в чем: пределы ставятся *областью,* в какой мы работаем. Область и будет задавать нам эти пределы. Т.е. мы не можем делать *что угодно и как угодно.* Потому что есть язык той области, в которой мы работаем, и границы этого языка (и там есть способы оперирования с языком).

КАРДИНСКАЯ: Но и само воображение подвергает сомнению эти пределы.

БУШМАКИНА: Да, совершенно верно.

КАРДИНСКАЯ: И может их раздвинуть.

БУШМАКИНА: Совершенно верно. Так и происходит, да.

КАРДИНСКАЯ: Т.е. получается так, что это отношение формы или этих границ к самим себе.

БУШМАКИНА: Да, к самим себе. Причем, понимаете, что это значит, на мой взгляд, когда речь идет о том, что мы протыкаем иглой яблоко? – Вот у нас есть *философия* и есть *литература.* Это вроде бы две разные области. И там, и там есть свой язык. Что произойдет, если мы будем настаивать на чистой автономии философии и на чистой автономии литературы?

ЯРКЕЕВ: Окаменение.

БУШМАКИНА: Окаменение! И тут и там язык *окаменеет.*

ШАДРИН: Вот это еще одна интересная тема, которую поднимают чинари. Это же литературно-философское содружество, или философско-литературное.

БУШМАКИНА: Совершенно верно!

ШАДРИН: Т.е. здесь текст литературный и текст философский неким образом пересекаются.

БУШМАКИНА: Совершенно верно! О чем я, собственно, и хочу сказать. Речь идет именно об этом. Т.е. есть философия и есть литература, и вроде бы это *соседние миры.* Они и разные, и каждая – философия и литература – существует в самой себе, каждая *замкнута* в самой себе.

ШАДРИН: Как бы автономна...

БУШМАКИНА: Да, как бы автономна. Вот они – две эти автономии. Вопрос: они могут пересечься? – Да, конечно могут.

КАРДИНСКАЯ: Потому что язык же общий...

БУШМАКИНА: Совершенно верно! Но при условии, что мы понимаем, что философия – это язык, а литература-то *понимает,* что она язык, если литература не берет своё отношение к реальности как действительности. – От чего, собственно, чинари и *уберегают* литературу.

КАРДИНСКАЯ: Есть же направление такое...

БУШМАКИНА: Да, но чинари как раз и говорят о том, что мы должны *отделить* слово от *непосредственной* вещи, от непосредственности мира. И когда мы *отделяем,* у нас на-

чинается работа просто *со словом*. И литература должна стремиться именно к этому. И когда она будет к этому *стремиться*, она необходимо и будет сталкиваться с теми проблемами, которые оказываются *философскими*. Т.е. с теми проблемами, которые она сама *не в состоянии*, собственно говоря, решить. Она *вынужденно* идет на сближение с философией: не потому, что она хочет этого. И когда чинари об этом рассуждают, речь идет о том, что ведь *действительно* воображение-то *свободно*. И поэтому мы *можем* пересечь философию и литературу. При этом мы будем получать что-то такое, чего еще *не было*. Это будет и для *литературы* чем-то таким, чего не было в литературе, и для *философии* будет чем-то таким, чего в философии еще не было. И в результате возникнет что-то *третье*, которое будет иметь *свои границы*. Но при этом задача заключается в том, чтобы *так* их пересекать, чтобы и философия не страдала, т.е. философский язык бы *развивался*, а не уничтожался, и литературный язык тоже мог бы развиваться. За счет чего? – За счет приращения смысла (при пересечении). Я почему, Алексей, тебя всё время отсылаю к Жолковскому. У Жолковского как раз есть такие вещи, которые написаны о *пределах* литературного метода. Т.е. что мы *можем* в литературоведении, а чего мы *не можем* в литературоведении. Он пишет о том, что литературоведение (в общем) не должно уходить ни в биографический анализ, ни в социологический анализ, ни в исторический анализ произведения. – Оно должно оставаться в своих границах. Потому что литературоведение часто *замещается* чем-то *иным*, что, собственно, литературоведением *не является*. И тем самым он указывает на некоторые *границы* литературоведения. Т.е., собственно говоря, на то, что *литературоведение имеет свои методы и пределы*. И при этом он ссылается на Якобсона. И это *важно*. Вот там, где мы *находим* эти пределы, мы можем найти возможные точки пересечения с чем-то еще. В частности, с философией. Я считаю, что чинари – это как раз вот эта попытка найти эту точку, точку пересечения этих соседних миров – философии

и литературы. И они *находят* это. И тогда у нас возникает вопрос: *как* в этой точке пересечения работать? Какими *методами* работать в этой точке пересечения?

СОЛОВЕЙ: Т.е. чинари экспериментируют.

БУШМАКИНА: Да.

СОЛОВЕЙ: А через Якобсона получается (он ведь тоже автореференциальность задает), что язык пишется сам себя.

БУШМАКИНА: Да, сам себя.

СОЛОВЕЙ: И тогда литература ограничивается границами языка.

БУШМАКИНА: Да.

ШАДРИН: Литература и философия – это понятно. А вот что касается *литературоведения*, то чинари-то как раз, по моему, здесь задают абсолютный предел. – Задают предел собственно *литературоведению*.

ЯРКЕЕВ: Как теории литературы?

ШАДРИН: Как теории литературы, да. Они буквально показывают, т.е. задают собственными текстами этот предел. Т.е. они, на самом деле, сами себя прокомментировали, и у Введенского комментарий и интерпретация зачастую уже *вписаны* в сам (авторский) текст. Они, с одной стороны, прокомментировали каждый сам себя, а с другой – прокомментировали друг друга.

БУШМАКИНА: Вот у меня вопрос: комментарий существует на уровне *словаря*, т.е. расшифровки лексем? Или *что* это? Т.е. я хочу понять, как мне отделить комментарий от интерпретации. Потому что это должны быть разные методы, разные способы.

ШАДРИН: Да, комментарий – это как бы внешний взгляд на текст, а интерпретация – это как бы внутренний, условно говоря.

БУШМАКИНА: Т.е. мне *конкретно* надо видеть: вот здесь идет комментарий, а вот здесь идет интерпретация.

ЯРКЕЕВ: Нет, тут так не разведешь, мне кажется.

БУШМАКИНА: Нет, это *разводимо*, это *должно быть* разводимо, потому что это *разные* способы.

ЯРКЕЕВ: Нет, через внешнее и внутреннее, я имею в виду.

БУШМАКИНА: А, через внешнее и внутреннее... не знаю. Потому что интерпретация тоже может выглядеть как внешнее.

ЯРКЕЕВ: Конечно, как внешнее, да.

БУШМАКИНА: Вот поэтому здесь надо четко отделять комментарий от интерпретации. Т.е. понять *по формам* (или еще как-то иначе). Т.е. надо просто просмотреть весь материал, связанный с понятием комментария.

КАРДИНСКАЯ: В исторической литературе комментариев – это (в классическом понимании) добавление. Допустим, речь идет о каком-то событии: один сказал то-то, другой сказал то-то. И при этом *точно* приводятся цитаты.

СОЛОВЕЙ: Комментарий – это объяснение происходящего.

КАРДИНСКАЯ: *Без осмысления*, в общем-то.

СОЛОВЕЙ: Это один способ комментария, а есть еще второй – когда в эту цитату добавляете что-то своими словами, пересказываете нечто по поводу этой цитаты. Т.е. цитата *приводится*, а дальше она *расширяется*, и может расширяться, комментироваться до бесконечности.

БУШМАКИНА: А я знаю, как это делается, я поняла. – Есть некая фраза, фраза состоит из слов, каждое слово имеет значение и т.д. Т.е. это расширенный словарь. Комментарий – это словарь.

ШАДРИН: Вот, Введенский как раз и говорит в отношении одной из статей по поводу его творчества, что, на самом деле, это статья бессмысленна, а не те тексты, о которых она написана. Вот эта жуть-то (непонимания) как раз и возникает, когда смешиваются комментарий и интерпретация в литературоведческом дискурсе, в частности, по поводу текстов Введенского.

БУШМАКИНА: Он *вынуждает* их смешивать.

ШАДРИН: Когда, например, пытаются привязать Введенского к *Ницше*. Ну, понятно, что Введенский говорит, что он *произвел критику разума, более радикальную*, чем Кант. Понятно при этом, что Введенский Канта не читал. Введенский закончил гимназию с несданным экзаменом по русской литературе. Какой там Кант, какой там Ницше! А вот эта статья (современная литературоведческая) – действительно бессмыслица *абсолютная*.

БУШМАКИНА: Ирина Александровна (Караваева), ты что-то хотела сказать?

КАРАВАЕВА: На протяжении нашей беседы у меня возникла модель, и она всё время воспроизводится. Т.е. вы *комментируете*, а она у меня всё время *срабатывает*. Я хочу вам ее показать. Есть такая вещь, которую все знают. Я имею в виду *абсолют*. Так вот этот абсолют – это и есть вот эта *деконструкция* смысла, или чистая абсолютная структура. Она не в воздухе болтается – она находится в субстрате языка.

БУШМАКИНА: Согласна, да.

КАРАВАЕВА: Т.е. вот *за* ним – языком, или субстратом языка – нечто существует. Ну, мы уже всё сказали как бы про это. И вот есть некий абсолют, он конструирован, он субъективен. Субъект находится *внутри* абсолюта, а дальше происходит следующее. Т.е. я хочу привязать это к неевклидовой геометрии (к тому, что я знаю). И чтобы неевклидова геометрия сработала, нужна *метрика*. Т.е. если мы не введем сюда метрику, то будем иметь круг. Как только мы вводим метрику, мы не достигаем абсолюта *по определению*. Т.е. движение к абсолюту становится невозможным. Как процесс – он существует, но его достижение невозможно. Так вот, в чем как бы вся прелесть, на мой взгляд, – в том, что это движение и есть поиск *смысла*. И тогда этот деконструированный смысл позволяет возникать другим *смыслам*, т.е. интерпретациям. И это повод к мышлению. Мы говорили о тождестве

бытия и мышления. Здесь на границе мы имеем *небытие*, но это повод к мышлению.

БУШМАКИНА: Да.

КАРАВАЕВА: Т.е. это не небытие и не есть тождество с не-мышлением, а есть повод к мышлению. А дальше мы берем и меняем метрику. Как только мы меняем метрику, меняется *всё*.

БУШМАКИНА: Да.

КАРДИНСКАЯ: Я хочу уточнить: меняем метрику, т.е. систему координат?

КАРАВАЕВА: Не совсем так. Скажем, ты не можешь пройти *до горизонта*, ты его не достигаешь. Вот это движение по окружности – это и есть метрика. Я хочу сказать, что здесь метрика есть *субъективность*, или *метод*.

БУШМАКИНА: Или метод, да.

КАРАВАЕВА: Мы берем *другой метод* и получаем *другой мир*.

БУШМАКИНА: Совершенно верно, да. Надо понять, что это способ задуматься. Нас надо *вынудить* задуматься.

КАРАВАЕВА: А почему нас вынуждают? – А потому что мы всё время *сталкиваемся* вот с этой бессмыслицей. Мы с ней сталкиваемся и мы *ищем* ходы. – Мы начинаем этот текст разбирать, собирать, комментировать.

ШАДРИН: Вот эта цитата из Малевича: *если религия познала бога, познала нуль; если наука познала природу, познала нуль; если искусство познало гармонию, ритм, красоту, познало нуль; если кто-либо познал абсолют, познал нуль*. Т.е.: *горит бессмыслицы звезда // она одна без дна...*

КАРАВАЕВА: Т.е. мы можем нарисовать одну картинку, а можем и другую, – и в результате получим *другую* не-евклидову модель. И меняя метрику, мы получаем другое пространство.

БУШМАКИНА: Да, совершенно верно. Так оно и есть. Всё правильно, потому что вот он – тот привычный

нам мир, в котором мы существуем: это окружность (окружный мир). А тут – *за* пределами окружности – есть *что-то*, что, как мы предполагаем, вносит в наш мир что-то такое, что делает этот мир *структурированным*. Что есть некое как бы *предчувствие* мысли. Т.е. вот этот весь мир (внутри окружности) – он мыслимый (это мыслимое). А вот *здесь-то* – за пределами окружности – что? – Вот как бы Бог, условно говоря. Но этот Бог существует очень интересно, очень странно. Этот Бог существует на уровне *пред-мышления*. – Т.е. это то, что *может* стать мышлением, но *мышлением* еще не стало. И вот это – то, что может стать мышлением, но мышлением еще не стало – является **ТОТАЛЬНЫМ ЧУВСТВОМ**. Почему? Что это за чувство? И тут происходит как бы *переход*. – Если за пределами окружности – тотальное чувство, то здесь – на границе – расположены вещи окаменевшего языка. Они сами (вещи окаменевшего языка) есть не что иное (каждая из них), как выражение *тотального чувства*. Это как у Юнга. – Архетипы *есть*, и вот когда мы приближаемся к архетипу, мы *столбнеем*, условно говоря. Т.е. наше мышление *бессильно справиться* с архетипом. На нас нападает столбняк. Так вот вещь – это и есть *столбняк*.

КАРДИНСКАЯ: Чувство, впадшее в столбняк.

БУШМАКИНА: Совершенно верно. От *безразмерности* этого чувства. Это столбняк этого безразмерного чувства, которое *застывает* вот таким способом. Оно может вот так застыть, а может и как-то иначе. И в зависимости от того, как оно застывает, мы как бы знаем, какое чувство застыло.

СОЛОВЕЙ: Кассирер говорит, что первый звук, который произнес примитивный человек, был звуком ужаса от мира, или *счастья*.

БУШМАКИНА: Совершенно верно! Об этом речь и идет!

ШАДРИН: Поэтому, пожалуй, самая известная вещь (поэма) Введенского – *Кругом возможно Бог*.

БУШМАКИНА: Вот. Это же не моя собственная модель. Это их модель. Я её, собственно, пытаюсь вам показать. – Что мы не об абстракциях говорим, а совершенно верно – у чинарей это *есть*. Т.е. Бог – это вот эти тотальные чувства. Но ввиду того, что они *тотальны*, они *непереносимы*. И они вызывают *ужас*. И вот эта *непереносимость* и *фиксируется* в вещах. – Вещи предстают как состояния этих чувств.

ШАДРИН: Застывшие состояния.

БУШМАКИНА: Да, застывшие состояния безразмерных тотальных чувств. Одна вещь – это *одно чувство*, другая вещь – это *другое чувство*.

КАРДИНСКАЯ: Вещь или имя?

БУШМАКИНА: Это не имя, потому что это такое как бы *умолкание*. – Когда, например, под взглядом Василиска *каменеют*. Всё, что попадает под взгляд Василиска, каменеет. Так вот этим «взглядом Василиска» здесь является это тотальное чувство, которое заставляет этот мир как бы *каменеть*. И этот момент окаменения мира, остановки этого мира и является основанием для перехода от *roesis*'а к *gnosis*'у. Эта остановка чувства и есть переход к мышлению. Но эта схема нам достаточно знакома, собственно говоря. Это точка эпохе у Гуссерля, или точка остановки у Хайдеггера (собственно, всё равно). Вот о чем идет речь. И чинари пытаются показать этот переход от чувства к мышлению. Они говорят, что мы от чувств должны переходить к мышлению. И это возможно только в том случае, если мы начинаем рассматривать вещи как окаменевшие состояния чувства. Вот, *мышление* приводит в движение эти вещи (или поэзия). Это тотальное чувство – как раз ввиду его тотальности – оказывается *неопределенным* и *неструктурированным*. А *вещи* – это предъявление *глобальности* в *определенности*. Эта невыразимая глобальность *определяется* в вещи. А дальше – когда в вещи она определяется (потому что вещь конечна) – возникает возможность *мышления*.

ШАДРИН: Отсюда еще одна цитата из Введенского (в отношении вот этого тотального чувства): *быть может только Бог*. Инфинитив «быть» здесь и выражает...

ЯРКЕЕВ: Неопределенность.

ШАДРИН: Да. Самое любопытное заключается в том, что неопределенность здесь двойка: как бы сказал Делез, у высказываний «Бог есть» и «Бога нет» один и тот же смысл.

БУШМАКИНА: Да. Это и есть Кант с его антиномией. Собственно, да – чинари идут дальше Канта. В *этом* отношении, конечно, они идут дальше Канта. Посмотрите, с одной стороны, идет *пересечение*: в вещи у нас происходит пересечение *чувства, слова* и *самой вещи как данности*. У нас происходит *скальвание* этих уровней. Вот они *скололись*. И теперь у нас *чувство* совпало с *вещью*. Т.е. мы говорим: *мир таков, каким мы его видим*.

ЯРКЕЕВ: Дан нам в ощущениях.

БУШМАКИНА: Да, дан нам в ощущениях. Он как бы становится *материей*. Но при этом – когда он у нас *стал материей* – происходит одновременно осознание того, что он есть, как он есть, в некой *отдельности*. Отдельности от кого? – От нас, от меня. И тогда я начинаю выступать – вот в этом мире – как *точка прокола*. И бесконечная *тотальность* через эту точку прокола начинает определяться. Но в этой точке прокола я тоже представляюсь себе как вещь, потому что другого способа еще нет.

ШАДРИН: Как *отсутствующая* вещь.

БУШМАКИНА: Да, как отсутствующая вещь, совершенно верно. Или (и чинари применяют, кстати, эту метафору) как два зеркала, поставленные друг перед другом. И эта бесконечность начинает работать.

ШАДРИН: Если привести вот эту цитату (мою любимую) из Бодрийера целиком, она будет выглядеть следующим образом: «Нас всегда очаровывает то, что своей логикой и своим внутренним совершенством полностью включает нас, например математическая формула, система»

тичность параноика, каменная пустыня, какой-нибудь бесполезный предмет или же гладкое и не имеющее отверстий тело, удвоенное и раздвоенное зеркалом, обреченное на извращенное самоудовлетворение» [Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М.: Академический проект, 2007. С. 119].

БУШМАКИНА: Совершенно верно. И мы можем дополнить это Шеллингом, который говорит, что *нет* в природе геометричности. Геометричность – это то, что мы *вносим* в природу. И вот это *окаменение* чувства одновременно есть *внесение порядка*, внесение *структуры*. Но эта структура еще должна быть *развернута*. Она будет разворачиваться из «графоса», из написания, из иероглифа (через различные способы написания). И поэтому здесь, когда первый раз от окаменения мы идем к мышлению (переход), мы идем к порядкам, а после этого происходит обратное. Т.е. мы начинаем эти порядки доводить до *предела*.

СОЛОВЕЙ: И там возникает это «био-».

БУШМАКИНА: Да-да, до биоплазмы, до плазмы доводим.

КАРДИНСКАЯ: Но плазма – это нечто размягченное, то, из чего может что-то появиться.

БУШМАКИНА: Всё что угодно из этого может появиться. Там *всё* может появиться, из этого – *всё*.

КАРДИНСКАЯ: Окаменевшее надо размягчить.

БУШМАКИНА: Да.

КАРДИНСКАЯ: Чтобы из него что-то вылепить.

БУШМАКИНА: Да, вылепить что-то еще, вылепить что-то другое. Это фрагментация, доведенная до состояния плазмы, собственно говоря, до подвижности плазмы. И там *пределом* вот этого окаменения является *абсолютное движение* (ничем не ограниченный *поток*). И теперь снова встает задача, чтобы этот поток начал что-то из себя, или внутри самого себя, производить. Т.е. с одной стороны у нас – то, что делает Шеллинг, когда он берет уже этот поток *так, как он есть*, и

начинает работать с потоком, т.е. (внутри потока) начинает этот поток *переопределять*. Т.е. он начинает *структурировать* поток. Что делают постмодернисты? – Они просто *скалывают*, они *колуют* тотальность на бесконечное множество частей. Т.е. они готовят *поток*.

ЯРКЕЕВ: Т.е. они его как бы очищают, превращая в плазму?

БУШМАКИНА: Они превращают тотальность в плазму, да. Они готовят поток, или эту неопределенность потока. Т.е. у нас есть как бы *классическая* философия, которая нам что-то предлагает. Есть *не-классическая* философия, которая нам тоже предлагает вариант. А что делают в этом смысле, т.е. где располагаются *чинари*?

ШАДРИН: Как раз *между*.

БУШМАКИНА: Вот они как раз и располагаются опять же *между*.

ШАДРИН: Какая трагическая судьба у всех... И Хармс, и Введенский, и Липавский ушли из жизни – погибли – в 37 лет. Олейников расстрелян в 1937 году, ему было 39. Единственным, кто прожил долгую жизнь, был Друскин. Как много успели сделать люди за такой короткий срок. А самое главное – в какое жуткое время всё это было написано...

БУШМАКИНА: Да. Но это и было основным условием перехода вовнутрь, собственно говоря...

ШАДРИН: Видимо, так.

БУШМАКИНА: Знаете, меня еще поразил очень интересный момент, связанный с Хармсом. Когда Друскин говорит о чинарях, он говорит о Введенском и о Хармсе: вот есть Введенский, и у него определенная позиция, где он выходит действительно в трансцендентное, и есть Хармс, который идет к жизни.

ШАДРИН: Это связано с тем – извините, я перебыю, – что возникает оппозиция бытности и безбытности. Если Введенский, как отмечает Друскин, был безбытен, т.е. писал

на табуретке, на чем придется, у него никогда не было письменного стола, то Хармс был бытен, он ценил...

КАРДИНСКАЯ: Комфорт...

ШАДРИН: Нет, не комфорт, а определенный *порядок*, чистоту порядка (комфорт – это другое). Отсюда два варианта бессмыслицы: у Введенского – семантическая, у Хармса – ситуационная.

БУШМАКИНА: Два способа, да. Но мне показалось еще интересным здесь у Хармса вот что: он всё *записывал*. Буквально всё, что с ним происходит, он записывал.

ШАДРИН: И *сохранял*.

БУШМАКИНА: Да, и сохранял!

ШАДРИН: Введенский же, по воспоминаниям Друскина, жил последней написанной им вещью. Как только он утрачивал к ней интерес, он ее кому-то дарил или терял просто-напросто. Поэтому только четверть из написанного и сохранилась.

БУШМАКИНА: Понимаете, это такое трансцендентное, которое живет *мигом*, где миг – это *вечность*. Вот вечность, свернутая в миг, в *сейчас*. – Где, собственно говоря, имеют значение только *смыслы* (а смысл подвижен), они *перетекают*. Ну какой смысл *закреплять* что-то? – Да *никакого*, потому что мысль уже ушла дальше. Ты уже в другом состоянии, ты уже про другое. И то, что после от тебя остается, *не имеет большого значения*. Следы – они как опавшие листья: их уносит ветром, ну и пусть уносит. Это как бы то возвышенное, которое *очищается* (от следов времени). И – с другой стороны – Хармс, который строит просто *напластования*, – напластования *времени*. Вот у него всё записывается и всё *складывается*. – Такой *архив*, – жизнь как архив. Этот архив является подтверждением того, что он просто *был*, что он *жил*. И вот Хармс каждый миг своего существования как бы *подтверждает, записывает*. Т.е. он превращает жизнь в *письмо*, он всё время трансформирует ее в письмо, которое должно *сохраняться*. Вот Хармса уже нет, а письмо *осталось*. И вот это –

один способ сохранения субъективности (это такой способ сохранения субъективности). И как сохраняет субъективность Введенский: субъективность Введенского сохраняется в *идеях*. Это тот смысл, который был у него все время как бы в действии, в работе, в мышлении. Мышление же обладает абсолютной проницаемостью. Т.е. архив *непроницаем*, а смысл *проницаем*. И поэтому Введенский сохраняется *не в записях, а в людях*. Т.е. он массу идей развивает, набрасывает, рассказывает. Эти «Разговоры» чинарей – это что, собственно? – Способ существования Введенского – *в этих разговорах*. Его мышление существует в этих разговорах.

СОЛОВЕЙ: Как у Сократа.

БУШМАКИНА: Да, примерно так же. И при этом он пишет *не на бумаге*, он пишет в *сознаниях*. И этот способ записи – в сознании другого человека – оказывается ни чуть не хуже. Т.е. он *не менее надежен*. Люди *исчезают*, но всё время остается *что-то*. Т.е. происходит как бы своего рода передача способом *заражения, инфекции*. «Инфекция» мышления *распространяется*, и она как бы заражает людей. И тем самым – через вот эту индуктивность, инфекционность – мысль не просто сохраняется, а всё время еще находится *сама* в движении. И поэтому (по-моему, об этом Друскин как раз пишет) даже несмотря на то, что все уже забыли, *кто* это говорил и *когда*, и не осталось записанных следов, тем не менее сама *идея* сохраняется, живет и разворачивается во времени.

ШАДРИН: Вот, чинари-то как раз буквально и «шрвали» друг друга на цитаты. Потому что никто не помнит, кто что сказал первым, кто высказал первым какую-то идею. Что касается вот этих двух способов существования... У Шлейермахера есть замечательная мысль по поводу этого: *древние писали для уха, мы же пишем для глаза*. Вот два способа: либо мы что-то проговариваем, либо всё протоколируем и записываем.

БУШМАКИНА: Вот поэтому у Введенского и получается, что он идет через *фрагментацию*. Т.е. в записи-то это

есть, эти фрагменты в записи *возможны*, но смысла они никакого не имеют. И поэтому смысл имеет только то, что мы *говорим*: разговоры, говорение, беседа. В этих разговорах наша мысль *существует*, собственно говоря, и существует *как-то* (т.е. в предьявленности). И другой способ у Хармса, где он начинает складывать что?

КАРАВАЕВА: Протоколы.

БУШМАКИНА: Протоколы, фрагменты, анекдоты и т.д. Те же анекдоты можно как-то *комбинировать*, т.е. это какие-то куски, какие-то фрагменты.

ШАДРИН: Там, собственно, не анекдоты, а анекдоты: «Анекдоты из жизни Пушкина».

БУШМАКИНА: Да, и о Пушкине, в частности. И посмотрите, что происходит у Хармса. Событие: муха села там куда-то на стол... Ну, в повседневной жизни это разве событие? – Это *не* событие. Но, оказывается, его можно сделать событием, как только мы *записываем* это, – как только мы переводим это в *текст*. А вот то, как мы *записали*, может сделать из какой-то деталюшечки, которая незначима, некое произведение искусства. И это говорит о том, насколько мала грань между *естественным* и *искусственным*: это всего лишь *переход* от данности к письму, к языку. И всё. И как только мы переводим это в *язык* и начинаем работать уже с *языком*, вся ситуация, которая повседневна, превращается в произведение искусства. Тем самым, видимо, Хармс превращал (и) свою жизнь в произведение искусства, когда переводил всё в текст.

ШАДРИН: Да, Друскин говорит о том, что Введенский как бы не пустил жизнь в искусство. Жизнь – это жизнь, а искусство – это искусство. А у Хармса не было границы между жизнью и искусством. Поэтому его интересовал театр (его *собственный* театр). Отсюда же все его трюки, или чудачества (в жизни).

БУШМАКИНА: Так вот, здесь все эти точки-то и начинают появляться, – точки границы. Мне кажется, что всё это чрезвычайно интересно. Конечно, этим стоит занимать-

ся, в этом надо разбираться. Только всё время стараясь сохранить рефлексию по поводу того, что, собственно, делается, как делается и что происходит. Да, я думаю, что тексты чинарей – это та точка, которая действительно устанавливает какие-то отношения между различными способами *понимания* мира, *конструирования* мира. Т.е. здесь, конечно же, задействован определенный способ *конструирования*. Но это *такой* способ конструирования, которого *нет*. Т.е. кроме чинарей, я думаю, просто ни у кого этого способа нет. И это тем и интересно. Т.е. это рождение нового *метода*. И интересно его *обозначить* и показать, как им пользоваться, и что из этого проистекает. И тогда чинари будут занимать своё место не только в литературе, но и в философии. Я считаю, что они *должны* занять там это место.

Научное издание

Шадрин Алексей Анатольевич

Сопредельные миры чинарей Герменевтика концепта «Теории слов» Л.С. Липавского

Монография

Авторская редакция

*Компьютерный дизайн обложки
О. Чигвинцева, Е. Юрин*

Подписано в печать 28.03.2016. Формат 60x86 1/16.
Усл. печ. л. 8,6. Уч.-изд. л. 6,2.
Тираж 500 экз. Заказ № 584.

Издательский центр «Удмуртский университет»
426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 4, каб. 207
Тел./факс: (3412) 500-295, e-mail: editorial@udsu.ru

ISBN 978-5-4312-0409-8



9 785431 204098

